



Екатерина Лесина
Слезы Магдалины
Серия «Артефакт-детектив»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=432902
Слезы Магдалины: Эксмо; М.; 2010
ISBN 978-5-699-45252-1

Аннотация

Когда-то Слезы Магдалины – подвеска из серого металла, украшенная семью прозрачными камнями, – помогли охотнику на ведьм Мэтью Хопкинсу излечить душу. Хопкинс почти уничтожил ее, когда предал любимую жену и дочку, обрек их на смерть и мучения... В наше время на наследницу Слез Магдалины объявлена охота. Одно за другим Алене приходят анонимные письма с одинаковым содержанием: «Ведьма, ты умрешь». В милиции девушке отказали в помощи сразу. И Алена не знает, к кому еще обратиться. Преступник оставил ей всего три месяца, он ждет, когда она смирится с неизбежным...

Содержание

Часть I	9
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Екатерина Лесина Слезы Магдалины

«Мы, чьи подписи стоят под этим документом, призванные в 1692 году присяжными в Салем, где судили многих, кого подозревали в ведовстве, обращенном против

разных людей, признаем, что сами не в состоянии были понять или противиться таинственным наваждениям сил тьмы и князя воздуха. Однако, не обладая знаниями и не имея поддержки людей знающих, мы позволили убедить себя принимать такие свидетельства против обвиняемых, которые теперь, после долгих раздумий и бесед со знающими людьми, сами считаем недостаточными для того, чтобы лишить кого-либо жизни (Вт. 17, 6).

Вот почему теперь мы опасаемся, что стали орудием в чужих руках и навлекли, хотя и по невежеству и без всякого умысла, на себя и весь народ Господень проклятие невинно пролитой крови – грех, о котором в Святом Писании сказано (4 Цар. 24, 4), что Господь его не прощает, по крайней мере, как мы думаем, до Страшного суда.

А потому настоящим доводим до сведения всех вообще и выживших страдальцев в особенности наше глубокое понимание совершенной ошибки и скорбь по поводу того, что на основании таких доказательств мы осудили кого-то. Кроме того, заявляем о справедливых опасениях, что в свое время мы стали жертвами заблуждения и совершили серьезную ошибку, что глубоко нас тревожит и беспокоит. Смирнейшие молим прощения прежде всего у Бога, чтобы Он, Христа ради, простил наш грех и не вменял его более в вину ни нам, ни кому-либо другому. А еще мы молим прощения у всех пострадавших от того суда и просим тех, кто остался в живых, поверить, что в ту пору мы, не имея никакого опыта в делах подобного рода и ничего о них не зная, находились во власти сильнейшего наваждения, которое владело всеми.

От всего сердца просим прощения у всех незаслуженно нами обиженных и объявляем, что согласно нынешним нашим убеждениям ни один из нас ни за какие блага в мире не сделал бы того, что мы сделали тогда, на основании таких же доказательств. Молим вас принять наши извинения в качестве удовлетворения за нанесенную обиду и просим благословить наследие Господнее, чтобы можно было молить Его за эту землю.

Томас Фиск, старшина, Уильям Фиск,

Джон Бачелер, Томас Фиск-младший, Джон Дейн, Джозеф Эвелит, Томас Перли-старший, Джон Пибоди, Томас Перкинс, Сэмюэл Сэйер, Эндрю Элиот, Генри Геррик-старший»¹.

Письмо, как и положено письму, лежало в почтовом ящике. Мятый прямоугольник белой бумаги и криво наклеенная марка. Два котенка за двадцать копеек и немного чернил бесплатно. Чернила свивались в круглое пятно печати, которое смотрелось совсем уж нелепо: кто ставит печати на конверты без адреса?

– Аноним, – пробормотала Алена, поднимая конверт над головой. – Какая странная фамилия...

Косой пук света, пробивавшийся сквозь мутное окошко, пронзил розовым. Розовые створки раковины-конверта, розовая жемчужина непрочитанного послания. И чутье, подсказывавшее, что ничего хорошего ждать не стоит.

¹ Признание присяжных, заседавших на ведовских процессах в Салеме, в том, что они совершили ошибку, сделанное четыре года спустя (14 января 1696 года).

– Вот возьму и выброшу, – сказала Алена сама себе и даже огляделась в поисках урны. Конечно, таковой поблизости не нашлось, и конверт, по-прежнему запечатанный, отправился в сумочку.

– Выброшу, выброшу-выброшу-вы-бро-шу! – Алена считала слогами ступени и шла нарочно медленно, чтобы успеть убедить себя в правильности принятого решения. Но стоило переступить порог квартиры, как рука нырнула в сумочку и выловила конверт.

Алена точно знала, что находится внутри: полоска папиросной бумаги и несколько слов. Слова могли быть разными, но смысл всегда сохранялся. Вот и сегодня:

«Ведьма, 1 мая ты умрешь».

Ну что ж, в запасе оставалось почти три месяца жизни. И Алена впервые подумала, что, возможно, умереть – если, конечно, будет не очень больно – лучше, чем вот так вот жить.

– Нет, подруга, ты мне это брось! – Танька топнула ножкой, и бубенчики на сапожке звякнули, соглашаясь с заявлением. – Вот взять и позволить какому-то там хаму нервы себе трепать?!

Алена вяло пожала плечами. Наверное, она не хотела видеть Таньку. Или хотела? Или уже сама не знала, чего хочет.

– Ну... ну давай что-нибудь придумаем!

– Что?

Глупый вопрос. Алена уже думала. Всякое думала. Когда письма только-только начали приходить, решила, будто это чья-то глупая шутка. Потом думала, что шутка затянулась, потом... Потом как-то вдруг перестала злиться на шутника и начала бояться. Сначала неосознанно – скользящие тени на бетонной стене тупика, шаги за спиной, случайный прохожий, слишком уж внимательно ее рассматривавший. Постепенно страх прорастал в Алене. Страх диктовал смотреть внимательно на людей, которые рядом и не очень рядом. Страх требовал замечать взгляды и выражения лиц. Страх нашептывал, что вот тот мужчина, высокий, в бобровой шапке-ушанке, третий день ходит следом...

Танька щелкнула пальцами перед Алениным носом, выводя из ступора.

– Але, подруга, выйди из комы. Ты в милицию заявление писала?

– Писала.

Белый лист формата А4 и косые строки. Каждую приходилось выдавливать. А серый человек в серой форме, небрежно скользнув взглядом по истории Алениных мучений, произнес:

– Не наш профиль. Предъявить нечего.

– Нечего? – Танька фыркнула, сдувая рыжую прядку. – Предъявить им нечего?! Мишка, ты слышал?

Мишка, Татьянанин супруг, молча сидевший в углу, кивнул. Слышал, мол. Возмущен.

Мишка и Танька друг другу подходят так же, как тяжелый валун подходит быстрому ручью, на берегу которого возлежит. Мишка – именно валун. И внешне похож: каменисто-квадратный, тяжелый телом, скупой на жесты и слова. А Танька – ручей, вертится-крутится, подтачивает Мишкину невозмутимость бурлением эмоций.

– А если детектива нанять? Нет? Ну... да, где у нас взять детектива. Слушай! – Танька прекратила метаться по комнате и, остановившись напротив Алены, ткнула пальцем в потолок. – Я придумала! Дом!

– Какой дом?

– Дом в деревне! Мишка, ну тот, который ты летом купил! Мы еще отдыхали там! Мишка! Ну реально же вариант! Смотри. Во-первых, там глушь адская! Твоему психу влом будет тащиться, а если и потащится, то вся деревня как на ладони. Чужаки просекаются сразу.

От волнения Танька принялась пританцовывать на месте.

– Во-вторых, черта с два он тебя найдет. Не додумается! В-третьих, если и додумается, то тут достаточно будет звякнуть Мишке, и он быстренько научит урода, как жить. Правда?

Мишка снова кивнул: научит.

– Ну что ты опять куksiшься? – Танька, плюхнувшись рядом, обняла за плечи. – Что? Лучше тут сидеть и страдать? Да если так пойдет, то ты сама в петлю прыгнешь!

Алена пыталась думать. В нынешнем ее состоянии это получалось тяжело. Факты ускользали, тонули в свинцовой безысходности, нашептывая, что метаться бессмысленно, что деревня не спасет, а Танькины рассуждения нелогичны. И Алена радостно ухватила за единственный аргумент:

– А с квартирой что?

– Да я присмотрю! Короче, выезжаем сегодня... нет, послезавтра, нужно будет кой-чего собрать. Никому не говори!

– Я не...

– Никому, Аленик! Если уж в подполье, то по полной. План такой. Появится твой псих раньше первого мая, Мишка с ним разберется. Не появится, тогда второго мая вернешься в город. Психи – народ обязательный, поломаешь ему план, он и отцепится...

– Таня права, – нарушил молчание Мишка. – Тебе надо уехать. Так будет лучше.

Влад не спал. Он вообще просыпался до рассвета – не то привычка, приобретенная за годы, не то изначальное свойство организма, – ловил минуты бодрствования и бездействия, когда тело еще отдыхает, а разум как никогда бодр и ясен.

Сегодня, как и все последние месяцы, все было иначе. Разум – машина на холостом ходу – порождал калечные образы и дикие мысли, сам же тянул их, достраивая подпорками условностей, и сам же разрушал. Разум был болен, а Влад беспомощен.

Перегорел. Нет, не так – выгорел. Как есть выгорел, дотла, до доньшка, и теперь только пристрелить, чтоб не мучился. Не пристрелят. Ждут. Надеются. Робкой стаей держатся в отдалении, уговаривая, что кризис временный, что он, старый жеребец, просто раскапризничался, но скоро – совсем-совсем скоро – бездействие ему надоест, и все вернется на круги своя.

Им, тем, кто ждет, не объяснить про нынешнее состояние. Они скажут: депрессия. Нервное истощение. Они порекомендуют хорошего врача и хорошую клинику...

Влад сел в кровати – холодно. Сыро. И окно льдом затянуло. Печь топить пора. А потом готовить. Колоть дрова, хотя поленница уже под верх, но механичность работы избавляет от мыслей. Опять же за водой сходить. К колодцу или роднику, лучше к роднику – он дальше.

Телефон зазвонил в четверть седьмого утра. Надо же, пожалуй, он поспешил обвинять их в равнодушии: прежде Наденька никогда бы не проснулась в такую рань.

– Владичек? Ты как, родненький? – ее голосок – медовые реки и сахарные айсберги – играл в беспокойство.

– Нормально.

– Владичек, я беспокоюсь.

– Не стоит.

Печь, приняв кусок тлеющей газеты, затянулась, как заправский курильщик.

– Владичек, три месяца прошло... – легкий упрек – айсберги столкнулись сахарными боками.

– И что?

– Ничего. Но это безответственно. Ты не можешь просто взять все и бросить.

За серым боком – надо будет мела добыть и попробовать выбелить печь – шумело пламя.

– Меня все знакомые спрашивают, что с тобой? А я не знаю, как ответить!

– Как-нибудь.

Наверное, она не заслуживает ни подобного разговора, ни подобного тона, но на другой у Влада не было сил. Между тем Наденька продолжала говорить, то присюсюкивая – сахарная пудра тающих в патоке айсбергов, – то становясь ехидно-жесткой. Влад что-то отвечал, невпопад и не особо задумываясь над ответом. Он слушал не женщину – чужую, случайную в жизни, – а пламя, разговарившееся за кованой дверцей. Голос пламени звучал приятнее.

– Нет! – голос в трубке звякнул металлом. – Так просто не может продолжаться дальше, Влад! Я хочу, чтобы ты вернулся. Ладно, пусть не сегодня, но на неделе... недели тебе хватит?

– Я не вернусь.

– Влад, я не шучу. Я уже не знаю, кто я. Я дважды переносила нашу свадьбу, о которой ты, дорогой, умудрился забыть.

Свадьба? Когда? Давно. Когда-то давно, когда разум был ясен, а мысли стройны и логичны, он сделал предложение Наденьке. И был счастлив. И она была счастлива.

– Извини.

– Ты ведь не раскаиваешься, – совсем другим, нормальным тоном – обиженная женщина – сказала она. – Все говорят, что ты сбежал от меня.

Неправда, не от нее. Точнее, не от нее одной, а от всех скопом.

– Мне больно. И я не хочу продолжать этот фарс... либо ты возвращаешься, либо...

– Что ты хочешь?

Список желаний оказался приличным. Наденька хорошо подготовилась к разговору, но даже она не ожидала, что Влад согласится на все условия.

– Пришли кого-нибудь с бумагами, – сказал он, радуясь, что этой проблемой стало меньше. – Я подпишу.

– Влад... – пауза, вздох и печальное: – Влад, тебе бы к врачу.

Наверное, да. Но, к счастью, в этой глуши врачей не было.

– Слушай, Надюх! А с документами пришли мне пару ведер краски.

– К-какой?

– Ну, – он огляделся. – Для пола. Для стен. И еще мела, такого, чтоб печку побелить.

– Псих, – буркнула она, бросая трубку.

Но краску прислала. Водитель, выгружая из багажника ведра, кисти, валики и тяжелый рулон прозрачной пленки – молодец Надька, обо всем позаботилась, – старательно отводил глаза. Водителю было стыдно за чужое безумие и за тех, кто этим безумием пользовался.

Наверное, в другой раз Влад поблагодарил бы его за сочувствие.

Могила находилась в той части кладбища, которая располагалась между остатками старой стены и стеной новой, отнесенной на двадцать метров в глубь парка. Матерые тополя, подобравшиеся вплотную к ограде, пластали ветки над рядами деревянных крестов и темных гранитных плит. Взъерошенные галки, рассевшись, как в театре, наблюдали за людьми. А люди почти не обращали внимания на птиц.

Люди решали проблемы.

– Вандалы, как есть вандалы! – Человечек в коротком сером пальтеце суетливо метался вокруг грязной домовины. – Вчерась все было тихо. А сегодня Петрович звонит, что так, мол, и так, Аркадий Сергеевич, вандалы...

Он вдруг поскользнулся на чем-то и, если бы не второй – высокий, в синей спецовке, съехал бы по влажной земле в могилу.

– Спокойно, – сказал третий ломким голосом. – Разберемся.

Этот хорош. Черная куртка с серебристыми бляшками, которые радостно посверкивали на солнце, лаковые штиблеты, уже измаранные кладбищенской землей, но все равно нарядные, серые брюки и серые же волосы.

Галки загомонили, обсуждая, что в человеке много птичьего. Особенно если с лица глянуть. Нос клювом выпирает, глаза круглые, выпуклые, а волосы слиплись мокрыми перышками.

Однозначно хорош.

Одна из стаи даже вниз слетела, приглядываясь. Боком подобралась к могилке – рыли неаккуратно, торопливо, разбрасывая мерзлую землю крупными комьями. Вон и на дорожку попало, и на соседние могилки, припорошило черным снежком пластмассовые веночки.

– Вандалы, вандалы... – продолжал вздыхать Аркадий Сергеевич, протирая личико платком. – Как так можно?

В гроб он старался не заглядывать.

– Несколько было, – заметил тот, что в куртке, присаживаясь на крышку. – Одному не вытащить. Хотя зачем он вытаскивал? Мог бы и там, внизу... или неудобно?

– Димка, ты не гадай, ты работай, – огрызнулся четвертый, до того бывший неподвижным и молчаливым. – Короче, Иванченкова Серафима Ильинична, пятьдесят пятого года рождения. Умерла пять дней назад... похоронена два дня...

Он склонился над вывернутым крестом.

– Тело незаконно эксгумировано...

Толстая. Тело повернулось на бок, уперлось животом в боковину гроба, и теперь локоть торчал.

– Писать – голова отрезана или голову отрезали? Или вообще отчленили?

– Пиши как-нибудь, потом разберемся, – рявкнул четвертый. – У нее и в груди кол имеется.

– Осиновый?

– А я что тебе, лесничий? Может, и осиновый... Димыч, слушай, мне кажется или от нее чесноком пахнет?

– Господи, господи... вандалы-то какие! Вандалы!

– Я ее нюхать не собираюсь!

– Оба, да ей в рот головку запихнули! Поглянь!

– Да иди ты! Гражданин, распишитесь тут. И вот тут. Да. И вы тоже. С телом что? Ну закопайте. Священника? Ну позовите, если охота... а что мы? Мы протокол составили, дело заведем, но...

Дальше галке стало неинтересно слушать.

Часть I

Преображение

Год 1673-й

«Мое почтение Вашей милости. Сегодня я получил письмо с приглашением приехать в город, называемый Грейт-Стаутон, для обнаружения людей, питающих злые намерения, коих я называю ведьмами (хотя до меня доходили слухи, что ваш викарий, по своему невежеству, настроен против нас). Тем скорее я намереваюсь приехать, чтобы услышать его необычное суждение об упомянутых персонах. Я знал одного священника в Саффолке, который также проповедовал против их поисков с церковной кафедры, а потом был вынужден (по распоряжению судебной комиссии) с той же кафедры от своих слов отказаться. Я очень удивлен тем, что находятся люди (к тому же из числа священников), чьей обязанностью является ежедневно напоминать о грозящих ужасах всякому отступнику, который встает на сторону сих злонамеренных людей против истцов короля, вместе со своими семьями и состоянием пострадавших. Я намерен нанести визит в Ваш город неожиданно. На этой неделе я должен поехать в Кимболтон, но десять шансов против одного за то, что я окажусь в Вашем городе раньше. Однако не прежде, чем узнаю, много ли у Вас приверженцев такой скотинки и готовы ли жители оказать нам хороший прием и гостеприимство, как и в других местах, где доводилось нам бывать. Если же нет, то я махну на Ваше графство рукой (а я еще ни в какой части его не приступил к делу) и отправлюсь туда, где мне не будут чинить препон, а встретят со словами благодарности и заплатят хорошее вознаграждение. За сим откланиваюсь и остаюсь Вашим покорным слугой. Мэтью Хопкинс»².

Дорога пылила. Дорога щедро подбрасывала под колеса колдобины и ямы, желтые валуны и черные трещины. Дорога издевалась над Мэтью.

– Скоро уже? – зевая во всю пасть, поинтересовался Стерн.

– Скоро.

– Когда?

– Отстань.

Мэтью Хопкинс стянул с головы шляпу и утер лоб. Жарило. Солнце – дьявольское око – добавляло мучений: пробираясь сквозь плотную ткань, кусало плечи да плавало тело. Щедро тек пот, привлекая рои гнуса, и в слаженном его гудении Мэтью снова слышались голоса.

Ведьмы. Снова ведьмы. Безумие мира, тлен души его, гниль преисподней, что, прорываясь исподволь, выплескивалась тьмою, отравляя все сущее. Сколько же их? Не одна, не две, не десять и не сто даже – тысячи тысяч, бессчетное множество тварей. И порой Мэтью начинало казаться, что усилия его – слабые человеческие потуги – тщетны.

– Жарко, – прервал размышления Стерн. Он выбрался из возка взопревший и красный, со следами расчесов на физии. Спрыгнул, потянулся, прихвативши руками за поясницу, и пояснил: – Ноем. К грозе. Поспешить бы.

Нэн послушно хлестанула кобылу веткой. Прибавил шагу и вислобрюхий мерин, на котором подремывал Нил.

Гроза, значит... откуда гроза, когда на небе ни облачка? Впрочем, ответ был ясен: они, паскуды, чуют приход Мэтью и, как обычно, тужатся, силятся остановить неизбежное.

² Ответ Мэтью Хопкинса на приглашение одного из прихожан, Джона Гола, посетить Стаутон. До Грейт-Стаутона Хопкинс так и не доехал.

Сначала жара и гнус, мелочи, каковые человека, духом крепкого, не остановят. А теперь вот гроза.

Когда ударили первые струи, хлесткие, ледяные, до Грейт-Стаутона оставалось еще мили две.

Гроза была страшна: небо ярилось, катало тучи, сталкивая друг с другом, высекая искры-молнии и рассыпая гул грома. Небо пороло землю. Водяные плети раздирали и красную глину, и серую пыль, мешая одно с другим. Небо желало стереть людей, каковые – упрямыцы – продолжали ползти по узкой ленте дороги, прорываясь к лесу.

– Мама-мамочка... – немо хлопала губами Нэн. – Господи спаси...

Джон вторил, крестился криво, пытаясь знаком ветер обуздать. Взывал:

– Пресвятая Дева Мария, смилуйся...

А ветер рвал слова на клочья, швыряя в грязь. Скалился. Хохотал. Визжал на тысячи голосов. Хлестал лицо, грязными пальцами лез в рот, норовя добраться до нутра, вырвать, вывернуть, кинуть под колеса.

– Отступи! – слышалось Мэтью. – Отступи – и спасешься!

– Нет.

Он упрямо мотнул головой – шляпу унесло, мокрые волосы водорослями закрепили лицо, затянули сеткой, вот-вот сомкнутся, повинувшись чужой, злобной воле, задушат.

Не бывает такому! Он сумеет, он выстоит, ибо чист духом и помыслами. Господь спасет. Господь милосерден. Господь всемогущ, и отродья тьмы не посмеют преступить волю его...

Белая молния расколола мир надвое, разрослась древом гнева, а следом, оглушая, ухнул гром.

– Мэтью...

Едва успел отскочить – мимо, одичалый, ошалелый, пронесся мул, на спине которого мешком бултыхался Нил.

– Лошадей! Лошадей держите!

Джон висел на поводьях, пытаясь справиться с кобылой.

Животные беззащитны перед дьяволом. Животные. Мэтью человек. Мэтью...

Еще одна молния ослепительной вспышкой, насмешкой, голосом из преисподней:

– Ничтожество! Отступи! Поклонись! Признай!

– Нет! – закричал Мэтью Хопкинс, захлебываясь водой и ветром. – Нет! Я не твой! Я не...

В спину ударило, сбивая наземь, и снова ударило, пришлось тяжестью кованых копыт, вминая в склизкую землю, прорезало тело ножами колес.

И тьма захохотала.

Знаменитый охотник на ведьм Мэтью Хопкинс до Грейт-Стаутона не доехал.

Село. Перекрестье улиц, десятков домов. Парочка франтоватых, со свежей черепицей да лаковыми фасадами. Еще парочка деловитых, уже стареющих, но еще крепких стенами. Остальные – старики, грязные, с прогнувшимися спинами-крышами, с седыми клоками мха да трещинами на стеклах. Один так и вовсе по самые окна в землю врос, а на крыше поселилась троица молодых берез.

– Ты не смотри, что тут так, – поспешила с оправданиями Танька. – Тут на самом деле классно. Воздух свежий. И вообще...

Аленка кивнула: вообще так вообще. Пожалуй, ей было все равно. Он – тот, кто желает смерти, – найдет ее хоть в городе, хоть в деревне. И стоит ли прятаться?

– Пойдем, – Танька, вцепившись в локоть, потянула к дому, что прятался за шеренгой корявых яблонь. Не старый, не молодой, не разрушающийся, но уже и не новый. Никакой. Серая черепица, бляшки мха и сыпь рыжей плесени. Ставни из темного, разбухшего сыростью дерева. Осклизлое крыльцо да лужи под забором. Тощий кот на лавке прикорнул, прячется от капель.

– Брысь, – сказала Танька коту и ногой топнула. Кот не шелохнулся. – Ты, главное, печку протапливай, особенно в первые дни. И не раздевайся. Вообще-то да, холодно будет. Ну потерпишь. Правда?

Аленка согласилась:

– Правда.

– Вот и я про то. Лучше тут и чутка померзнуть, чем там, рядом с этим психом. А я тебе звонить буду. И Мишка заезжать станет. Ну не часто, часто он не сможет...

– Раз в три дня, – сказал Мишка, пристраивая пакеты под козырек крыльца. Он вытащил из борсетки связку ключей, на которой выделялся один – длинный и темный, погнутый на шейке, – и, оттеснив Таньку, завозился с замком.

Внутри дома было сыро и очень холодно. Руки тотчас онемели, ноги тоже, и Аленка испытала острое желание вернуться. Подумаешь, письма. Ну и что? Зато дома тепло и уютно. И отопление центральное, и туалет, и никакой необходимости с печкой возиться. И вообще до первого мая ей ничего не грозит...

– И не думай даже, – строго произнесла Танька. – Вернуться всегда успеешь. Попробуй хотя бы.

– Попробую.

Стыдно. Танька ведь переживает. Старается. Выход ищет.

– Мишка, дров принеси и...

Следующие несколько часов дом приводили в порядок. Чистили, мели, мыли, согревая ледяную воду на печке. Та же наполнила дом чадом и белым дымом, от которого першило в горле, а на глаза наворачивались слезы. И Танька, вытирая глаза красной ладонью, бурчала, а Мишка вяло оправдывался, что он не виноват, что нужно было по осени дымоход чистить, а потом, завершая спор, сказал:

– И дрова сырые. Повыхсохнут – нормалек будет.

Танька согласилась.

Они уехали под вечер, увозя с собой шаткое спокойствие и оставляя прежние страхи, помноженные на непривычность места. Сначала Аленка бесцельно бродила по дому, трогала вещи, переставляла и возвращала на место, гладила горячий печной бок, переворачивала перины, разложенные на полке и уже почти сухие, ставила на огонь и снимала кастрюльку с водой.

Искала занятие.

Потом, случайно встретившись с отражением в зеркале, вымученно улыбнулась:

– Все будет хорошо.

Приезд соседей вызвал слабую вспышку интереса. И Влад, усевшись у окна, некоторое время наблюдал за тем, как пожилой «БМВ» ползет по грязи, ударяясь днищем о каменный хребет дороги. И за тем, как люди – две женщины в коротких полушубках и квадратный тип в кожанке – мечутся между машиной и домом, выволакивая тюки и свертки.

Жить собираются?

А хоть бы и так. Какое ему дело? Никакого. Но Влад продолжал смотреть.

Высокая блондинка отчаянно жестикулирует. Печальная брюнетка с лицом Пьеро, наоборот, двигается медленно, натужно, словно там, под шубкой, что-то сломалось. А вот парень держится в стороне от обеих.

Пойти, что ли, познакомиться?

Вместо этого Влад лег в кровать, повернулся лицом к стене и закрыл глаза.

...ай, человек, сбежать удумал? От себя разве сбежишь? – вихрем взметнулись разноцветные юбки, в лицо пахнуло дымом, а на глаза легли монеты. Холодные.

– Беги-беги, а от себя не сбежишь!

– Сбегу, – попытался возразить Влад. – Сбегу, старая дрянь!

Ведьма захохотала. Как это у нее выходит смеяться с закрытым ртом и еще трубку сосать? Никак. Это сон. Это кошмар. Давний-давний кошмар, который обострился, потому что у Влада кризис.

– А хочешь, я тебе, мил-человек, погадаю?

Ведьма перекатила трубку в угол рта и достала из-под юбки колоду карт. Старые, слипшиеся, с почти вытертыми рубашками, они заматались в темных руках, словно желая сбежать от хозяйки.

– Не хочу!

– А я все равно погадаю. Я добрая.

Карты легли на пол причудливым узором и ожили. Вот дама с россыпью монет над головой подмигнула и превратилась в Наденьку. Вот вторая, темная, с лицом Пьеро, скривилась, роняя слезы. Вот король безликий, но с пучком мечей в руке...

– Это не король. Это Рыцарь, – ведьма накрыла карту другой. – Ты ж у нас Рыцарь... смотри, смотри!

Он смотрел. Верхняя карта была черной, но постепенно чернота расплывалась, собираясь в центре. И вот уже смутная фигура обрела очертания. Человек? Человек. В черном балахоне.

– Это смерть, глупенький, – сказала ведьма Наденькиным голосом. – Это смерть. Скоро совсем. Хочешь скажу, когда?

– Уйди!

– Видишь тройку? Это значит, что через три... дня? Нет, пожалуй не дня. Недели? – Ведьма пыхнула дымом и, заткнув отверстие трубки пальцем, возразила себе: – Нет, не недели. Три месяца. У тебя еще целых три месяца! Не трать их попусту, Владичек...

Он очнулся как всегда – в холодном поту, онемевший и задышающийся. Он скатился с кровати на пол, прижался лицом к доскам, втянул гниловатый их запах. Постепенно отпустило. Медленно. С каждым разом все медленнее, наверное, когда-нибудь его не отпустит вовсе. Когда-нибудь он так и останется лежать на полу.

Он сдохнет здесь. Инсульт, инфаркт, паралич. Неспособность доползти до телефона, позвать на помощь. Одиночество.

В город возвращаться надо, к Наденьке. Она согласится на примирение, она...

Пальцы на руке подергивались, ногу тоже полоснуло отходящей болью. Нет, Наденька не выход. Наденька быстро устанет играть в супругу при калек и найдет выход. Нет, убивать она не станет, но кто сказал, что смерть – это самое страшное?

Влад поднялся на четвереньки – левая рука еще не слушалась. Может, все-таки, пока не поздно, самому все решить? Пулю в висок и адью, господа. Влад ведь подготовился. Пистолет имеется. Бумага гербовая для посмертной записки. Не хватает только смелости.

На карачках он дополз до печки, просто потому, что она теплая и думалось рядом легче.

Как вариант, можно киллера нанять... Мысль вызвала неожиданный прилив злости:

– А хрен тебе! Три месяца, значит? Три месяца – это много. За три месяца я что-нибудь да придумаю. В монастырь уйду. Все отпишу. Примут. Они знают, как с ведьмами обращаться... на костер! Всех на костер! Или вешать еще... а когда хоронят, то осиновый кол. И голову отрезать, а в рот чеснока, чтобы не встала. Ведьму в ад! Н-ненавижу!

Печальные лики святых с упреком взирали на Влада. Им была чужда ненависть, а в нем не осталось места для любви.

Супруг Серафимы Ильиничны, ошалевший не то от горя, не то от свободы, уж который день кряду находился в запое. Но появление милиции вызвало некоторое прояснение в его голове.

– Фимушка? Моя Фимушка, – он сгорбился и, обняв пустую бутылку, захныкал. – Один я теперь, как перст. Бросила, сгинула... стерва!

Димыч уточнил:

– Кто стерва?

– Ну... дык она и стерва. И дура. В петлю лезть. Разве ж нормальный человек по пустяку в петлю полезет? Я ж ей говорил-то, брось! Нашла из-за чего страдать. А она все ходила-ходила...

Он повернулся спиной, разом вдруг утратив интерес к разговору, и побрел в квартиру. Димычу ничего не оставалось, как пойти следом. Хотя идти не хотелось: дело-то пустяковое, на копейку, а бумаг потребуется на рубль написать. И ведь ежу понятно, что не найдут они вандалов, да и искать не будут, потому что занятие это изначально бесперспективное. Но вот отреагировать обязаны.

– Значит, она повесилась?

– Кто? – Алкоголик обернулся, близоруко сощурившись. – А... Фимушка. Повесилась, бедолажка. Я прихожу, а она в гостиной. На галстукое моем. Хороший галстук был, нарядный. Вместе выбирали. Мне Светка потом говорит: дядь Саш, продайте.

– Галстук?

– Ага. Я тож удивился, а она мне, дескать, веревка, на которой кто-то повесился, счастье приносит. Тоже тварь! Где ж это видано, чтоб чужое несчастье кому-то счастье принесло?

Несчастье в квартире обитало, собиралось пылью по углам, выстраивалось шеренгами бутылок, расплзалось беспорядком, последним бастионом на пути которого высилась горка с чешским хрусталем. На горку с противоположной стены строго смотрели фотографии.

– Она это, – пояснил дядя Саша, заметив Димычев взгляд. – Фимушка. Вот тут после института. А тут уже мы поженившись были. В Крым ездили. По путевке от профкома.

Сказал он это с законной гордостью человека, заслужившего награду.

– А это потом уже.

Лицо на фотографиях менялось. Становилось шире, круглее, обретая тяжелые складки подбородков, трещины морщин и оплывающая щеками. Лицо старело вместе с Серафимой, но для дяди Саши, с восторгом в пьяноватых глазах, оставалось прежним: любимым.

– Мы ж душа в душу. Столько лет. Детей вот не было, а так... я ж без нее теперь никак. Скорей бы уж. А она повесилась. Как она могла?

Димыч отвернулся, ему вдруг стало стыдно за прошлое свое равнодушие.

– Из-за него... из-за тебя все! Из-за таких, как ты! Пришел теперь! А раньше где был? Где? Мы ж ходили. И она, и я. И к участковому, и к вам, и к начальству даже. А они мне говорят: нет оснований. Что, теперь появились?

Внезапная вспышка ярости закончилась слезами, которые потекли по грязному личику дяди Саши, а он даже и не заметил, что плачет.

Димыч же, отступив – мало ли, еще кинется псих, – спросил:

– Зачем вы обращались в милицию?

Основания или нет, но проверить он должен. Дядя Саша, вздохнув, ответил:

– Покажу. Жди.

Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с конвертом. Обыкновенным конвертом, слегка мятым, надорванным с узкой стороны.

– Там. Внутрях.

Записка. На тонкой бумаге, которая того и гляди расплывется в неловких пальцах Димыча. Всего два слова, не столько пропечатанных, сколько продавленных причудливым шрифтом.

«Сдохни, ведьма!»

Алена не могла заснуть до рассвета. Было холодно. Было неудобно – одряхлевшая за зиму кровать на каждое Аленкино движение отвечала скрипом, жалуясь на ревматизм в пружинах сетки. Было страшно: чужой дом подступал к ней, присматривался, тянулся тенями и звуками.

Шелестит. Шуршит. Будто бы шаги. Писк. Мыши? Мышей она не боится, а вот крыс очень даже. Вздых. Это не мыши и не крысы, но кто тогда? Тот, от которого она убегала?

Убегала и не убежала.

Стоит ли играть в прятки с судьбой?

Под утро, когда ночь стала расплываться мутным киселем, Алена все-таки задремала.

– Погадай, погадай! – Она совала колоду грязных карт старухе, которая от колоды отворачивалась и бурчала что-то в ответ. Но Аленка не отставала. Аленка была упрямой девочкой. Она забежала то с одной, то с другой стороны, заглядывала в темные старушечьи глаза, надувала губки и кривила рот, угрожая слезами. Наконец бабушка сдалась.

Бабушка? Ну да, это же бабушка. Аленка помнит! Аленка к ней летом приезжала. Но разве бабушка умела гадать?

Это же сон. И в нем костлявые, в плетении вен руки ловко управлялись с картами, разворачивая веером, выкладывая на столе узорами судьбы.

– Ждет тебя дорога дальняя, – нараспев, подражая цыганке, сказала старуха. – Дорога дальняя, дорога сложная, дом казенный, король червовый...

Король с блондинистой челкой подмигнул Аленке и залихватски закрутил ус: мол, скоро свидимся, девица. Скоро слюбимся.

– Король трефовый, пиковая дама, – перечисляла карты бабка, не особо глядя на те, что выпали. Зачем смотреть, когда по слову ведьмовскому карты во мгновение ока рисунок меняют. Была шестерка бубей, а стал король трефовый.

Забавно.

В бабкиных руках осталась последняя карта. Она долго не скидывает ее, смотрит, морщится, играет бровями, потом вдруг швыряет на стол и шепчет:

– Смерть.

Черная дама на картинке взмахивает косой. Аленка отпрыгивает и просыпается.

Про бабушку говорили, что она ведьма. Не в глаза, конечно, не при детях, но в ежевечерних посиделках, которые стихийно возникали то у одной, то у другой хаты.

Нет, не так. Сначала с поля возвращались коровы, рассыпаясь по деревне, заполняя улицы сытым нетерпеливым мычанием. Потом стучали струи горячего молока, которое наполняло ведра и трехлитровые банки: одни себе, другие на город, на продажу... На некоторое время дворы полнились суетой, но она быстро стихала. И вот бабы, стягивая сапоги и ситцевые халаты, обмывали ноги, повязывали головы цветастыми платками и выбирались на улицу, посидеть.

Дети тянулись следом, делая вид, что взрослые разговоры им неинтересны и что они заняты своими, исключительно важными детскими делами, но меж тем старались не отходить далеко. Слушали.

– А я Мормычихе так и сказала: дура ты! – Агапкова восседала на лавке, как на троне. Расставивши колени, клала на них растертые докрасна руки. Белая, городская шаль мантией возлежала на покатых плечах. – Пойди попроси, разом зашепче. А она...

Аленка, складывая из камушков горку, подбиралась ближе, ей интересно было и про Мормычиху: Галю Мормычихину, которая в третьем доме от реки живет. И про то, почему она, Галя, дура, потому как, на Аленкин взгляд, не дура вовсе, а наоборот даже – добрая.

– Каждый год с пузьякой. Пло́дить голытьбу.

Бабы кивали, соглашаясь.

– Сама вон в могилку сойдет, кому они нужные будут?

Бабы вздыхали, сожалея.

– А Федюнька к благоверной-то возвратился, – перебивая Агапкову, делится новостью Сумашиха. – Инке-то кукиша с маслом...

И все тотчас забывают про Галю, пережевывая свежую сплетню. Гомонят, что галки над погостом, пихаются локтями, дерут друг у дружки слова.

Аленка же слышит одно:

– Федюнькина-то к Клавке бегала... за заговором...

И смолкают, и глядят на Аленку внимательными птичьими глазами, и, наконец, Агапкова сладеньким голоском тянет:

– Шла бы ты домой, Аленушка. Баба волноваться станет.

Аленка уходит, не потому, что боится за бабушку – та никогда не волнуется, – но потому, что страшно ей вдруг становится сидеть среди людей-птиц. Вдруг да обернутся – не вороньем, не галками, так гусями-лебедями. Подхватят на шали-крылья, унесут за дальние реки, за темные леса...

– Вот глупенькая, – бабка прижимает ее, запыхавшуюся, готовую разреваться от страха, к животу, гладит по голове и шепчет: – Чего они сделают? Только языками молоть гораздыя...

От бабки пахнет горелым жиром, молоком и травами. На переднике прилипли сухие былинки, и Аленка отколупывает их, совсем уж успокаиваясь. Действительно, чего ей бояться, если у нее бабушка – ведьма?

А трав в доме полно. Висят пучками полынь да девясил, пушистое медвежье ухо да колючий, злой осот. Стоят рядом тряпичные узелки с цветами, лежат коренья, зреют в банках зелья. И каждая подписана круглым бабкиным почерком: когда поставлена, для кого и какой заговор читать надо.

Заговоров у бабки много: целая большая книга, которую Аленке смотреть можно лишь издали. Она хотела было внутрь заглянуть, даже забралась в *шухляду*, но была поймана бабкою и впервые выпорота.

– Рано тебе. Придет срок – научу, – пообещала она потом, вытирая слезы.

Вот Аленка и ждала, когда ж придет. А пока просто смотрела. Слушала.

Мать река, ключева вода. Как умывала она круты берега, как уносила желтые песка, так омой-ополощи печаль и тоску с раба Божьего Федора. С ясных очей, со кровавых печеней, из ретивого сердца, из буйной головы. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь! Тьфу!

И мутная жижа в бутылке вдруг вскипает пузырьками, оседает тяжелой мутью на дно, а бабушка, сцеживая верхний, высветлевший слой, учит:

– Каждое утро давай. Сначала одну капельку, потом две, три, и так пока до тридцати не дойдешь. А потом назад. Поняла?

Толстая женщина суетливо кивает. Поняла, мол. Благодарствую. И, поднявшись с лавки, бочком выходит из комнаты.

– Смотри у меня, – говорит бабка, грозя пальцем непонятно кому – пришелице или Аленке, спрятавшейся за сундуком. Пугаются обе.

Бабка умерла, когда Аленке исполнилось двенадцать. Мать, как показалось, вздохнула с облегчением, а при случае пустила в хату пожить пришлых. После и вовсе продала.

Алена только сейчас вдруг подумала, что не сдержала слово. Она же обещала бабке, что приедет. Обещала и не приехала.

– Я маленькая была, – сказала она себе. – Что я решала? Мама сказала, что не надо...

Мама ничего не взяла из дому, даже книгу. А спустя месяц где-то пришло извещение: на почте Алену ждала посылка. Внутри лежала витая цепочка и амулетик. Полоска темного железа, длиной с мизинец, и семь камней, прозрачных, словно слезы. Маме подарок не понравился, но отбирать не стала.

И Алена сжала амулет в руке, собственные слезы покатались на подушку.

Нету бабушки. Нету мамы. Нету никого, кто бы позаботился об Алене. Так зачем же метаться? Чего ради жить?

Темнота, протянув руки, обняла. Заглянула в душу черными глазами. Шепнула:

– Не бойся.

Ответы на некоторые вопросы, которые часто задают и впредь будут задавать Мэтью Хопкинсу касательно его способа обнаружения ведьм³.

Вопрос 1: Уж не является ли он сам величайшим колдуном, чародеем и волшебником, иначе как бы ему удавалось такое?

Ответ: Если бы царство Сатаны разделилось надвое и одна половина стала враждовать с другой, как бы оно устояло?

Душа застряла в теле, разделяя боль и раны, загнивая и излечиваясь. Мэтью видел ее, легкую, подобную утреннему туману или же, напротив, отяжелевшую мукой, разодранную мельчайшими трещинками, готовую рассыпаться пылью.

И тогда он начинал укорять душу, ибо как ей возможно рассыпаться, ежели она бессмертна? Он уговаривал потерпеть и обещал молиться, и молился бы прямо там, в небытии, если бы помнил хоть слово.

В какой-то миг душа исчезла вовсе, и вместе с нею ушла и боль.

Утренней росой блестели призрачные ладони. Перевернулись, выливая влагу на пустоту внутри Мэтью. Солоно стало. Странно. И понимание пришло, что никакая это не роса, но слезы. И лик в тумане проступил, темноокий и прекрасный до того, что сердце сжалось комочком.

Хотел спросить Мэтью незнакомку, кто она, но та исчезла, а едкие слезы вдруг обожгли изнутри. И Хопкинс пришел в себя.

Где он? Низкий неровный потолок, бугристая стена, кривое окошко. Пучки трав и кореньев. Запах сена и гнили. Шелест и шорох где-то рядом. Повернуться бы, посмотреть, но тело неподъемно.

Некоторое время Мэтью так и лежал, уткнувшись носом в кучу тряпья, прислушиваясь к происходящему вовне. Обвыкаясь.

Вспоминая.

Последнее давалось с трудом. Он ехал... куда ехал? Стот... Стаут... Грейт-Стаутон. Точно, Грейт-Стаутон, который в Хантингтоншире.

³ Здесь и далее: Лондон, напечатано для Р. Ройстона, у Ангела, в Айви-Лейн. Год 1647-й. Автор сознательно переносит события во времени и пространстве. В реальности Мэтью Хопкинс к началу процессов над салемами ведьмами был уже мертв. Но кто может за это поручиться?

Зачем? Письмо. Было письмо. Его приглашали... да, его приглашали найти ведьму. Его всегда зовут, когда нужно найти ведьму. Почему? Потому что он – Мэтью Хопкинс. Он – избранный, на котором благословение Господне. Ему дано видеть сокровенное. Ему позволено отделять зерна от плевел и овец от козлиц...

Ведьм от людей.

С этой мыслью Мэтью заснул. И снова видел темноокую. Плакала. Собирала слезы в ладони и лила внутрь. Жгло. Он хотел сказать, чтобы прекратила, но был бессилен. И единственное, что сумел, – вновь проснуться.

За окошком туманом серебрилась темнота, а травы щекали ноздри ароматами. Хорошо. Только в груди жжется. И Мэтью снова принялся вспоминать. Жара была. Гнус. Потом что? Гроза. Да, именно: небывалая гроза, которую наслали ведьмы.

Ветер. Молнии. Лошадь понесла. Удар. Боль. Наверное, Джон не справился с кобылой. Нет, не Джон виноват, ведьмы испугали животных. Ведьмы снова пытались убить Мэтью. И на сей раз у них почти получилось.

Но Господь не оставил пастыря своего без защиты!

– Вы очнулись? Как замечательно, что вы очнулись, – под голову подлезла горячая рука, потянула вверх, выворачивая шею. В губы ткнулся деревянный ковшик. – Я знала, что слезы Магдалины помогут. Она спасает слабых. Вот, выпейте.

Горько. Сладко. Тянет и вяжет. Просачивается в тело и склеивает раны. Успокаивает жжение в груди.

– Лихорадка была, – пожаловался голос. – И кости поломаны. Но кости срослись бы и раны тоже. Вы крепкий. А вот лихорадка – плохо. Это значит, что душа горит. Я бы не спасла, а святая Магдалина...

Ответить ей – а говорила именно женщина – Мэтью не сумел бы. Да она и не требовала ответа. Напив, уложила, поправила тряпье под головой, натянула сползшее одеяло и исчезла. А спустя мгновение на лежанке прямо перед лицом Мэтью возникла черная кошка. Некоторое время она сидела неподвижно, разглядывала человека. Затем выбросила лапу, полувыпущенными коготками мазнув по носу, будто спрашивая:

– Ну что, попался?

Ведьмы издевались над Мэтью.

Влад протирал иконы. Не то чтобы он так уж тяготел к порядку – кучи пыли и груды барахла в соседней комнатухе не вызывали раздражения – скорее уж опостылела скука серых лиц.

Набрав в миску ледяной, колодезной воды, он оторвал кусок рубашки и принялся елозить по стеклам. Скрипели. Грязь размазывалась, готовая застыть полосами и потеками, а на ликах не прибавлялось святости.

Никогда не было.

Нет, родители Влада, как и бабки, и деды, не отличались особой религиозностью. Но одно дело вера, и другое – иконы. Они появились дома уже потом, после аварии, словно соприкоснувшись с вечностью, родители вдруг опомнились и решили принести в дом немного этой самой вечности.

Потрескавшийся лак на досках, благородство потускневших красок, темные лица, черные глаза, что смотрят с упреком, не в душу, но почти. Золото и серебро окладов, тончайшие узоры чеканки, нечто материальное, пред чем не стыдно поклонить колени.

– Искусство – высшая форма проявления человеческого разума, – говорила мать, войлочной тряпкой убирая невидимую пыль с витрины. И отражение отца кивало.

Искусство было искусственным, а иконы живыми. Только они не желали спасать Влада, предпочитая заслоняться от его проблем. Или дело в том, что он не умеет молиться?

Он попытался вспомнить хотя бы одну... он ведь читал когда-то, интереса ради. Пытался понять, что же есть такого в этих словах. Не вспомнил. Разозлился – память снова предала его – и, сев на лавке, между тазом с водой и грудой пыльного тряпья, принялся копать в голове.

Ну же, он вспомнит. Обязательно вспомнит. Еще немного и...

– Владичка! Господи, Владичка! Я и представить себе не могла, что ты живешь так... так ужасно! – Наденька, появившаяся на пороге, всхлипнула, прижимая к носику кружевной платочек. – Я думала...

– Зачем ты приехала?

Влад прыгнул со скамьи, вытер липкие – пыль, чистящий порошок, грязная вода – руки о штаны и закусил язык. Слова, готовые сорваться – о них бы он пожалел, – застряли в горле. Наденька же, не спеша отвечать, переминалась на пороге, заглядывала испытующе в глаза и хлопала ресницами.

Так она делала всегда, когда собиралась просить о чем-то и предвидела отказ.

– Владичка, а ты Машеньку помнишь? Машеньку Свиридову? Которая Федора сестра, а ты с ним...

– Помню.

Наденька шагнула, вытянув руки, словно желая обнять его.

– Машеньке угрожают! Представляешь? Это кошмар какой-то! Я ее вчера встретила, так просто не узнала! Говорю, господи, что с тобой? А она в слезы! Жуть.

Зачем она здесь? Ради Машеньки, которую Влад если и вспомнил, то смутно – долговязая мрачного характера блондинка. Или брюнетка? Не суть важно, просто Наденька в жизни не станет делать что-то ближнего ради. И уж тем паче ехать за тридевять земель в глухую деревню к бывшему – уже все-таки бывшему – жениху. Сочувствие? Не смешите.

– Надь, а Надь. Хватит врать.

Оскорбилась, картинно и картонно, приняв позу соответствующую, которая на Влада ну никак не подействовала, разве что повеселила.

– Или правду говори, или до свиданья. У меня работы много.

– Ну ладно. – Надька решительно зашла в комнату, толкнула стол, чтобы хоть на ком-то раздражение выместить, швырнула сумочку на грязную скатерть и уселась в единственное кресло. – Правды хочешь, значит? А правда в том, что тебя, друг мой, считают полным психом. Более того, психом опасным. Это ведь ты Машке письма шлешь?

– Какие письма?

Влад окончательно перестал понимать что-либо.

– С угрозами. Влад, вот не делай такое лицо. Я ж тебя, подлеца, знаю как облупленного. Слушай, вообще это дело не мое, конечно. Вообще мне уже и наплевать вроде как, – в руке возникла сигарета на длинной змейке мундштука, щелкнула зажигалка, и из Надькиных губ вывалилось первое облако дыма. – И наплевать. Но вот... знаешь, ты не такой урод, как остальные. Жалко мне тебя. Укатают ведь.

– Я не понимаю, о чем ты.

– А я не понимаю, зачем ты притворяешься. Ты и раньше Машку ведьмой называл. Называл-называл, не притворяйся. Тем вечером, когда... – запнулась, не желая вслух поминать давний позор. – Когда ты нажрался и полез к ней драться. Нет, даже не драться, Владичка, – душить. Тебя трое от Машки отрывали. А ты все орал, что ведьмам дорога в ад.

Он не помнил. Точнее, воспоминания его были совершенно иными. Да, был вечер. По поводу? А без повода, просто вечер для друзей. Пьянка. Все пили, и он пил. Нет, не пил – напивался. Почему? Потому что начались кошмары и мысли по утрам стали мутными.

Драка? Была. Но чтобы он кого-то душил? Невозможно!

– Я тебе не поверила, когда сказал, что не помнишь. А ты и вправду не помнил. Тебе бы лечиться, не здесь, а нормально. Хочешь, я договорюсь о консультации? Подумай, – Наденька дышала дымом. Лиловые воскурения для ложных икон. Жертвоприношения от язычницы-формалистки, которая если и видит иконы, то лишь как предмет искусства.

Проклятье, голова болит. Ноет и ноет. Это от Наденьки.

– Знаешь, почему я не возражала, когда ты объявил об отъезде? Ведь ты же свалил накануне свадьбы. Вот просто сказал: до свидания, дорогая, я хочу отдохнуть и от тебя в том числе. Пожалуйста, дорогой, отдыхай. Может, мозги на место встанут.

– Не встали?

– Судя по всему, нет. Оставь Машку в покое, пока ее нынешний за тебя всерьез не взялся. Он не посмотрит, что ты – это ты. Просто явится в твое Шушенское да сделает радикальный массаж битой. Зачем оно тебе?

– Я не понимаю, о чем ты говоришь! Твою ж мать, Надька!

– Вот, – она направила мундштук, словно дуло пистолета. – Уже бесишься. Ты очень легко выходишь из себя. Делаешь что-то. А потом не помнишь. Я же тебя прошу, вспомни. Вспомни, бога ради, кому и какие письма ты шлешь. И зачем? Машка? Да наплюй на Машку, нагадала она... она ж в первый раз тогда карты в руки взяла!

Карты. Машка. Ведьмы. Голова. Он сходит с ума. Он не писал никаких писем. Он уехал оттуда, чтобы быть подальше от всех, так зачем писать?

– И что она мне нагадала?

– Ну... – Наденька замялась. – Что тебе недолго осталось. Что ты в прошлой жизни был охотником на ведьм и кого-то несправедливо убил, а тебя прокляли. И поэтому ты умрешь. Ну чушь же! Карты, книга ее...

Книга. Темные страницы, разбухшие с возрастом, словно суставы от старости. Буквы вдавлены, чернила выцвели, но это неважно. Читать можно и так.

Написано было не по-русски. Английский? Латынь? Не суть важно, главное, что никто в их компании не знал языка, но Машка – все-таки блондинка, желтые патлы и белое лицо с карминовыми губами – читала. Громко и с подвываниями, потому что пьяная и потому что играет.

Карты мечет на стол, пальцем водит по лаковым лицам королей и дам – почти иконы, только святости на грош, – а потом склоняется над книгой и шевелит-шевелит губами...

– А ты, Владька, скоро сдохнешь! – радостно возвестила она. – Скоро! Месяца этак...

Она принялась загибать пальцы. И разгибать. Считать, не в силах высчитать. Под конец, устав, махнула рукой и, икнув, заключила:

– Один хрен, скоро!

Тогда-то на него и нахлынуло.

– Вот! Видишь! – Наденька пихнула в грудь. – Ты же... ты же псих! Ты уже и меня готов! Ну давай, бей, докажи всем, какой ты...

Он стоял над ней, сжимая кулаки – белые-белые пальцы, синие-синие костяшки и шрам поперек запястья. Свежий. Откуда? Когда? Как? Неужели он действительно ненормальный? Не помнит, что творит?

Наденька, подхватив сумочку, пятилась к двери. Не выглядела она испуганной, скорее уж играла испуг, как играла все прочие эмоции.

– Смотри, Владенька, плохо кончишь...

Промаявшись два дня, Димыч решил-таки навестить школу, в которой прежде работала Серафима Ильинична. Он заранее убедил себя, что поход этот – трата времени, что ничего-то он не узнает, а даже если и узнает, то дело не стоит выеденного яйца. И вообще дело это – не школьное, но кладбищенское – закрывать пора. Но записка, изъятая у пьяненького дяди

Саши, жгла карман, а совесть, до того времени дремавшая, теперь давила неоплаченным долгом.

– *Бомжак! Бомжак!* – они кричали издали, не смея подойти. Знали, что кинется, догонит и будет бить. Сегодня их только трое, с тремя управится. Если бы больше, тогда, наоборот, бегать пришлось бы ему.

Правда, он никогда не бегал. И не плакал. И пощады не просил. И даже про себя, где-то в глубине души гордился прозвищем.

– *Бомжак...*

Он подхватил камень и, развернувшись на пятках, швырнул в крикуна. Попал! Тот плюхнулся на задницу, заголосил, зажимая руками разбитую бровь. По лицу поплыли кровавые струи.

– *Сам виноват, – нерешительно сказал Димка, давясь внезапным страхом. Точно выпорот. Или в милицию сдадут, а то и в дурку. Палыч и в прошлый раз грозился, теперь-то уж точно. Но это несправедливо! Они же первыми начали! Они обзывались, а он просто ответил, как умел.*

– *Смотри, Еглычев, – только и сказал Палыч вечером. – Допрыгаешься когда-нибудь. Если хочешь чего-то доказать, то не кулаками доказывай. Делом.*

Димка потряхнул головой, прогоняя наваждение. Палыч, двор между двумя школами – давно было. И сплыло. И вдруг теперь вынырнуло.

Что общего у Серафимы Ильиничны, пятьдесят-какого-то-там года рождения, и Андрея Павловича Аркашина, умершего пять лет тому? Оба учителями были? И что? Попадались в Димкиной практике и прежде учителя, но совесть молчала. А тут вдруг и...

– Вы к кому? – поинтересовалась вахтерша в фрондерских очках с желтыми стеклами. Очки съезжали на кончик носа, и смотрела дамочка поверх стекол, с пренебрежением и злостью.

Димыч не стал пускаться в объяснения, вытащил ксиву, сунул под нос и спросил сам:

– Серафима Ильинична тут работала?

– Фи-и-и-ма? – тоскливо протянула вахтерша, снимая очки. – Ну тут. Она умерла.

Ну и о чем дальше спрашивать? О том, кому она, заслуженная учительница, награжденная памятными дипломами и одной медалью, насолила? Причем насолила настолько, что даже после смерти ее не отпустили?

– Фима была человеком старой закалки, – вахтерша по-своему расценила Димычево молчание. – Понимаете, у нас школа особая. Гимназия! Элитная. А она вела себя, как будто в совковой находится. Ей объясняли и объясняли, но без толку.

Значит, были конфликты. Интересно, с кем? Палыч вот вечно конфликтовал с родителями, которые приходили жаловаться на Димку и на других, кто тоже дрался. И с властями конфликтовал, потому что, кроме Палыча, родители шли к властям и власти требовали ограничить свободу воспитанников. И с воспитанниками, не желавшими свободу ограничивать и ненавидевшими Палыча за попытки.

– Вам бы к Елене Викторовне, – подсказала вахтерша, водружая очки на нос. – Второй этаж. Двенадцатый кабинет.

Спасибо Димыч говорить не стал, вдруг разозлившись и на вахтершу, и на школу, и на себя — дурака сентиментального. Нужно было не сюда ехать, а на Палычеву могилку. Меньше движений, больше смысла.

Вместо этого он поднялся по лестнице – ступени покрыты широким, мягким ковром. Минул картинную галерею, обошел два дерева в солидных кадках и без стука открыл дверь кабинета, рывкнув:

– Милиция.

Женщина, сидевшая за столом, оторвала взгляд от бумаг и, ткнув когтистым пальчиком в кресло, велела:

– Садитесь. Одну минуту.

Ждать пришлось минут пять. Нарочно томит? Показывает, что он, Димыч, никто? Заставляет нервничать, дергаться, озиаться, давит роскошью кабинета, заслоняется узким прямоугольником монитора и рядами разноцветных папок.

И сама-то соответствует месту: деловитая и холеная. Узкое лицо с тонкими губами, острый подбородок и высокий лоб. Волосы стянуты в тугий узел, из которого торчат палочки-заколки. А одна прядка выбилась, легла на щеку.

– Вы насчет Завдеева? – Наконец Елена Викторовна соизволила обратить внимание на посетителя. – Произошедшее, конечно, печально. Однако вынуждена заявить, что школа не несет ответственности за действия учеников вне стен школы.

Апогей официоза. Ей бы отчеты в прокуратуру писать. Ровно, красиво, сухо. Слушал бы и слушал.

– Я по поводу Серафимы Ильиничны.

– Да? – теперь она позволила себе удивиться. Актриска малого театра элитной школы. – Мне казалось, что дело закрыто.

– И открыто. Ввиду новых обстоятельств.

Димыч нарочно не стал уточнять, что обстоятельства эти к смерти отношения не имеют, во всяком случае, не доказано пока, что имеют. А значит, считаются условными.

– Ну что ж... конечно, я буду рада оказать всяческую помощь следствию. Серафима Ильинична проработала в гимназии три года и еще двадцать лет в школе до того, как та стала гимназией. Она зарекомендовала себя как работник обязательный, ответственный...

Врет. Не любила она Серафиму Ильиничну, а та платила той же нелюбовью завучу Леночке, потому что не видела никакой Елены Викторовны, потому что не привыкла, чтобы в завучах да на ответственных постах такие профурсетки восседали. Только Елена Викторовна в жизни не признается, что Димычевы догадки верны. Будет петь дифирамбы и лить меды, сладостью затирая тени войн.

И Димыч, подвинувшись вплотную к столу, тихо спросил:

– А если правду?

Поняла. Дернулась, но не отпрянула. Взгляд выдержала и даже улыбнулась.

– Что ж. Можно и правду. Какую именно хотите услышать? Да, у нас случались конфликты. Да, это я была инициатором ее увольнения. Нет, я не испытываю сожалений по поводу сделанного. Каждый отвечает за себя, а я еще и за школу.

Ошибся ты, Димыч. Ну и к лучшему, пусть дамочка говорит, а ты слушай.

– Вы не против, если я закурю? Только будьте добры, закройте дверь. Парадоксальная ситуация, понимаете ли. В школе абсолютный запрет на курение, а я вот никак... – она виновато пожала плечами и достала из ящика стола коробку.

Дверь Димыч закрыл, молча – плевать он хотел на разрешения и запреты – достал пачку «Мальборо» и щелкнул зажигалкой. Несколько мгновений молча дышали дымом.

– Она была советской учительницей, – наконец нарушила молчание Елена Викторовна. – Не подумайте, что это упрек... нет, в прежней школе это был единственный путь выживания. У нас все помнят о правах детей, но никто не задумывается, на что эти дети способны. Вы ведь никогда не работали в школе?

– Нет.

Кивнула, стряхивая пепел в бездымную пепельницу.

– Дети пьют, курят, трахаются в школьных туалетах, дерутся, сбиваются в стаи... это страшно на самом-то деле. Ты им двойку поставишь, они тебя в подворотне встретят. Пугать милицией? Не бояться. Они же несовершеннолетние... господи, да я радуюсь, что наша школа

гимназией стала! Что весь этот сброд остался за ее стенами, что сюда приходят только те, кто может себе позволить.

Взмах руки, лицо вполоборота, чтобы он, Димыч, оценил всю красоту игры.

– Тогда, в прошлой школе, Фимино упрямство, несгибаемость, несговорчивость и бесстрашие помогали управляться с ними. Ее боялись. Ведьмой называли...

– Как?

«Сдохни, ведьма!»

– Ведьмой. Это намеком на характер. А характер у нее был кремень. И поэтому, конечно, когда школа стала гимназией, Фимочку пригласили на работу. Вот тут-то и вышло, что характер ее...

– Не прижилась?

– Именно. Не прижилась, – Елена Викторовна выбралась из-за стола. – Она не желала понимать некоторых нюансов работы... инновационные технологии, экспериментальные методики – это все от лукавого, у Фимы были свои, обкатанные годами, апробированные на десятках и десятках учеников. Я не говорю, что плохие, но...

– Но неподходящие для вашего заведения.

Кивнула.

– И чем дальше, тем хуже. Сначала давление на учеников. У некоторых случались истерики, и, естественно, родителей это беспокоило...

Недоговоренное повисло в воздухе: ты сам все понимаешь, Димыч. Родители платят, но не за знания, а за отметки. Так им, родителям, спокойнее. А школа в лице Серафимы Ильиничны этому спокойствию мешает.

– Мы очень долго мирились с ситуацией, но... – Тон Елены Викторовны стал сухим и колючим. – Где-то с месяц назад Серафима Ильинична подняла руку на ученика.

Алена видела, как отъезжает машина. Нарядная иномарочка агрессивного красного колера изрядно изгваздалась в грязи, что несказанно злило водителя. Машинка дергалась, тычась мордой в забор, прыгая назад, упираясь в другой забор, выворачивая колеса...

Кто это? И зачем приехал? За ней? Посреди бела дня и нагло? Нет, скорее всего, просто совпадение. Машина, выбравшись-таки на дорогу, уехала, а Алена продолжала сидеть у окна.

Человек появился из дома напротив, того самого, низкого, почти сросшегося с землей и оттого неуютного на вид. Он вылез из этой поросшей мхом кучи, словно дракон из норы, и потянулся на солнце, расправляя руки-крылья. Длинные. И сам такой же. Палка-палка-огурчик. Огуречно-зеленый свитер крупной вязки плотно облегал тело, собираясь на локтях неровными складками. Синие джинсы пузырями провисали на коленях и исчезали в голенищах высоких ботинок.

Некоторое время человек стоял во дворе, размахивая руками, точно делая зарядку. Потом вдруг резко повернулся и уставился на Алену. Ну да, он на нее смотрит! Не на дом, не на яблони, а именно на нее. Тонкая преграда стекла не помеха. Вот сейчас улыбнется, помашет рукой или пригрозит пальцем, а потом вынет из кармана белый конверт.

Вместо этого человек скрылся в доме-норе.

Аленка упала на лавку, прижав руки к груди, уговаривая сердце немного успокоиться. Не стоит переживать. Сосед? Ну сосед. Танька говорила, что в доме напротив никого? Ошиблась. Ее ведь с лета не было. И до лета не было бы. А дом за это время могли продать или купить...

Всего лишь совпадение.

Слишком уж совпадение.

На следующий день сосед выбрался за ограду и, устроившись на грязной лавке, закурил. Точнее сказать, он просто зажег сигарету и сидел, разглядывая Аленкино убежище.

А на третий день появился Мишка.

– Танька велела сказать, что письмо пришло. Она вынула. Сожгла. – Мишка, составив пакеты на край стола, огляделся. – Велела спросить, ты как тут?

– Нормально.

Кивнул. Зевнул. Вечно сонный, заторможенный в движениях, он был привычен. Он успокаивал.

– А... а тут в доме напротив поселились. Такой высокий. Длинный даже. Он за мной следит.

Сказала и устыдилась, страха своего, который уже скоро в паранойю перейдет. И того, что вообще жалуется, словно просит решить ее проблемы. И просит ведь, и знает, что Мишка не откажет. Мишка, он вообще безотказное существо.

И сейчас вяло кивнул, повел плечами – медведь просыпается, – ответил:

– Ща побазарю.

Вышел.

Аленка кинулась к окну, прилипла щекой к влажноватому стеклу, заслонила руками от солнца. Застыла в ожидании. Вот Мишка бодрым шагом пересекает грязевую реку, в которую превратилась дорога, вот решительно распахивает калитку, вот направляется к дому. Скрывается...

Отсутствовал минут пятнадцать. Вышел вместе с длинным, который что-то судорожно объяснял, жестикулируя. Рядом со спокойным Мишкой он казался нервным и суетливым. Нестрашным.

Потом они вдвоем направились к калитке, но, к огромному облегчению Алены, человек в огулочном свитере остался по ту сторону забора. А Мишка, вернувшись в дом, заявил:

– Он тут с осени живет. С ноября. Говорит, что Федорин внук. Я его помню.

Мишка, успокаивающе хлопнув по плечу – рука-лапа, еще немного и упала бы, – сказал:

– Ты если чего не так, то звони.

И ушел, и Аленка снова осталась наедине со своими страхами. Она заняла прежний пост у окна и сидела до темноты.

И после наступления тоже. А утром в дверь постучали.

– Кто там? – Алена спрашивала, прижавшись к косяку. В руках ее была кочерга, в голове одно-единственное желание – сбежать.

Не ответили. Ушли? Или вообще не приходили. А стук тогда? Показалось. Веткой по окну, ветром по ведру, которое висит под крышей.

Однако когда Алена все-таки решилась выйти из дому, она увидела знакомый конверт, засунутый в щель между бревнами:

«Беги, ведьма, беги».

Вопрос 2: Пусть он не зашел так далеко, как сказано выше, но все же встречался с дьяволом и обманом выманил у того книгу, в которой записаны имена всех английских ведьм, и теперь, только взглянув на ведьму, может по лицу определить, виновна она или нет, значит, помощь его от дьявола.

Ответ: Если он оказался достаточно хитер, чтобы выманить у дьявола книгу, честь ему и хвала; что до суждения по внешнему виду, то здесь его способности не больше, чем способности всякого другого человека.

Ведьму звали Луизой, и она была хороша. Лет шестнадцати, а может, и того моложе, но круглолицая, круглотелая, уже вошедшая в недолгую пору женской красоты, Луиза дразнила обманчивой нежностью.

Светлый волос, темный глаз. Тонкий нос и пухлые губы с крохотной трещинкой, которая не заживала, несмотря на все Луизины усилия.

Дьявольская метка. Она сама, каждой линией тела своего – дьявол. Инкубица, похоти сосуд, каковой поставили на пути Мэтью искушением.

Хитер враг рода человеческого, но для истинно верующего хитрости его явны и неприглядны. Они хотят, чтобы Мэтью преисполнился благодарности за спасение? Не бывать такому! Не из христианского милосердия подобрала она израненного и несчастного. Не из жалости выхаживала, но из желания душою завладеть.

О, она умело собирала души несчастных, что беспечно тянулись к лживому свету в глазах ее. Страждущие и жаждающие, скорбные телом и лишенные надежды на выздоровление. Нет, они не торопились очистить душу и помыслы, не калялись, не молились, но спешили за травами и зельями.

Путь в геенну огненную легче, чем в рай.

И лживыми очами глядели с серого металла слезы Магдалины. Когда б Мэтью был хоть чуть-чуть сильнее, он бы сорвал с шеи демонический амулет, но, беспомощный, мог лишь разглядывать.

Полоска железа в мизинец длиной. Семь камушков, неграненых, но прозрачных и чистых, словно и вправду роса окаменелая. Давят на грудь, разъедают изнутри, и она, ведьма, не желает снимать. Говорит, будто слезы Магдалиныны пожар души унимают.

Скорее бы подняться, и тогда...

– Вчера мне сказали, что лучше бы я тебя не находила, – Луиза села у кровати. – Что гроза была знаком. Твои грехи превысили чашу терпения Господня и...

И эта тварь смеет обвинять его?! Мэтью отвесил ей пощечину. Попытался. Но он слишком слаб, Луиза увернулась.

– Не сердись, – сказала она, перехватывая. – Это они так говорят. Я не ведьма, а ты не безумец. Просто человек.

Просто человек, которому не оставили выбора.

– И ты запутался, – она, наклонившись, коснулась губами горячего лба. – Отдыхай.

Он отдыхал, он выздоравливал, чувствуя, что одновременно сходит с ума. Его душа, притравленная каменными слезами, успокаивалась, затягивая прежние раны, унимая ненависть и гнев. Однажды, кажется, в тот день, когда он сумел встать с постели, Мэтью понял, что устал бояться. А к вечеру понял: Мэтью Хопкинс, охотник на ведьм, умер во время грозы на дороге на Грейт-Стаутон. Человек, очнувшийся в хижине Луизы, был другим.

Плохим? Хорошим? Просто другим.

И Магдалина во сне больше не плакала.

– И что мне теперь делать? – спросил Мэтью, не без труда опустившись на валун. Ныли, предвещая дождь, переломанные кости, чесались шрамы, свербело в пробитом боку. Но даже не тело переменилось – душа. Вдруг словно вдохнула свежего воздуха, потянулась и вылупилась из кокона запоздалой бабочкой. Этой новой душе было бы томительно возвращаться к прежнему ремеслу, да и не выдержала бы она, нежнокрылая, подобной работы.

– Чего делать? – повторил вопрос Мэтью.

Заливаясь румянцем сумерек, небо подмигнуло в ответ:

– Жить, Мэтью, просто жить.

Жизнь под дланью Сатаны оказалась не такой и ужасной. Мэтью не помнил, когда случилось то, что в общем рано или поздно происходит, когда мужчина и женщина оказы-

ваются под одной крышей. Случилось и продолжилось, протянувшись нитью тепла в слякотной осени, согрев зиму открытым пламенем душ, улыбнувшись весне новой жизнью. А к лету на закате – редкие дни жары и утренних туманов – Мэтью стал отцом.

Это было чудо. И разве дьяволу под силу чудеса?

Новорожденная дочь, синеглазая Абигайль, окончательно примирила его и с Богом, и с миром, пробудив прежнюю веру, не дала пробудиться страхам. Она... она была прекрасна, как сама жизнь.

Наденька приехала и уехала. Она ничего не изменила в нынешней Владовой жизни. Для очистки совести он сделал вялую попытку подумать о письмах, которые кто-то кому-то зачем-то пишет, но голова по-прежнему отказывалась работать.

Поэтому Влад предпочел наблюдать, благо рядом нашелся объект вполне себе забавный. Девушка-Пьеро из дома напротив. Дома с большими окнами, через которые просматривался почти весь дом, особенно если взять бинокль.

Влад брал. Смотрел. Ни о чем не думал, но выводы появлялись сами по себе. Его соседка кого-то боялась. Она редко выходила во двор, а когда все-таки появлялась, то вела себя нервно, то и дело замирала, оглядывалась, высматривая что-то или кого-то. А потом снова скрывалась в доме, садилась у окна – сквозь стекло проступал размытый силуэт – и пялилась на дорогу.

От мужа прячется? От любовника? А широкоплечий, неповоротливый, кто ей? Друг? Брат? Дальний родич? Он появляется под утро, перекрывая машиной ворота, долго возится в багажнике и, вооружившись тюками пакетов, медленно бредет по тропинке. И спустя десять-пятнадцать минут снова садится в машину. Уезжает.

На этот раз, правда, было иначе. Он вышел из дому и бодрым шагом направился к Владу. На миг стало стыдно: поймали за подглядыванием. Потом смешно.

– Здрасьте. Я Миша.

Он вошел без стука, ссутулился, словно стесняясь размаха плеч, повел головой на короткой шее, оглядываясь. Хмыкнул, увидев иконы.

– Влад, – представился Влад.

– А я тебя помню.

Откуда? Ну конечно, это ж Мишаня, старый приятель, верный враг. Руки-грабли, нос картошкой, брови, упрямо сдвинутые над переносицей, и подбородок не с ямкой – с натуральной вмятиной.

– И я тебя. Помню.

Еще бы не помнить. От него остались три шрама поперек спины, белые нитки, старая боль. Со всей дури доской тогда саданул, а на ней гвозди. Зацепил, разодрал до кровяки и сам же испугался. Домой вместе шли и вместе получали. И снова друг друга за то ненавидели.

– Чего тут делаешь?

– Живу.

Глупый разговор, как и сама эта встреча. И Миша тоже понимает всю глупость, но упрямится – ему нужно выполнить долг перед той девицей с маской вечной тоски вместо лица.

– Да так... Приехал вот. Пожить на природе.

– А... – Миша дернул плечом. – Тогда понятно. А я сосед.

– Будем знакомы. Снова.

Руку он сдал крепко, не то проверяя, не то демонстрируя силу. Влад послушно охнул и, поддерживая игру, сказал:

– Силен.

Говорить стало не о чем. И Миша, некоторое время потоптавшись на пороге, вышел. И только тогда Влад вспомнил, что собирался спросить, как ее зовут, ту, которая прячется.

Ну не спросил, и ладно.

– Мишка объявивсо? – бабка Гэля впервые решила задать вопрос. До того ее с Владом отношения сводились к механическому обмену. Он протягивал купюру, она, засунув ее за отворот платка, совала мокрую банку с молоком.

Вот странность, на столе, на скатерти отпечатков влажных не остается, но банка все равно мокрая.

Баба Гэля, разминая купюру пальцами, продолжила беседу:

– Федута бачило, что объявивсо. Он забору сладить обещавсо. И не сладил.

В крохотных глазках не упрек – любопытство. И Влад зачем-то спешит оправдать соседа-незнакомца:

– Он только наездами. Поселил кого-то. Женщина. Молодая. Сестра?

Баба Гэля скрутила денюжку валиком и сунула за отворот платка.

– Неа. Мишко одиный осталсо. Вчетверо их было, однако ж от... ох беда, беда, – она затрясла головой, как китайский болванчик. – Ох горюшко-то какое! Да ты садисо, садисо. Чаю будешь? С творожком? Свой творожок, сама ставила, сама сцеживала. И сыр от. Сыр сухой, мне никак, а тебе ладно будет.

Пора было бы попрощаться и уйти, на кой ему деревенские сплетни не первой свежести? Со старухой-то понятно, ей в охотку поговорить, закисло небось в одиночестве. Он же, наоборот, одиночества искал.

– Вчетверо. Мишко младший, а с ним Генусь, Данутка и Василиска. Хорошие детки, справные, – баба Гэля принесла и сыр, и творог, поставила сахар в банке, опять же мокрой. – Ты ешь, ешь. Худой. И Манько, матко их, тоже худобая была. Хворая потому что. И городская.

Прозвучало серьезным упреком.

– Витько без благословенья обженился. Уехал в город и привез, дескать, женка моя. Ну Глашка, Витькина мамаша, приняла, без радости, у нее-то свои намеренья имелисо, но приняла. Живите, раз обженилисо. А потом и детки пошли... кто ж знал, кто ж ведал. Горегорюшко.

Причитала она профессионально, с душой и знанием дела, даже слезу выдавила и не вытирала, пока не убедилась, что Влад заметил.

– И жили. Не хорошо, не плохо. Как все. А потом Витько взял и к другой переметнулся. Поначатку бегал втишку, огородами, а опосля заявил. Развод, мол. И любовь. Ну так чего? Всякое ж бывает. Манько вещишки собрала и выставила. Катися. А сама взяла да в ночку хату подпалило. Ох беда-беда, горюшко...

Горе, беда из тех, которые настоящие, которые каждый день, которые вроде бы и рядом, но достаточно далеко, чтобы жизнь не омрачать. Рядом с таким собственные проблемы меркнут. В них, в проблемах, и вовсе смысла немного.

– Один током Мишко и выжимши. Вот оно как бывает. А баба тая, разлучнице, к которой Ванько от семьи сбег, тем же годом удавилася.

Страшно. И странно: почему Влад этого не помнит?

– Че я? А че я? – белобрысый пацаненок набычился. – Я ж ниче. Это она сама.

Он сплюнул под ноги и покосился на Димыча: верит? Димыч пока присматривался и думал над услышанным.

Итак, за месяц до самоубийства у железной Серафимы Ильиничны не выдержали нервы. На уроке русской литературы с ней вдруг случился нервный припадок, в результате

которого пострадал некий Саша Демочкин, ученик восьмого класса. По словам заведующей, парень не беспроблемный, но и не самый плохой. Обыкновенный.

Димыч и сам теперь видел, что обыкновенный: тощий, угловатый, рожа в прыщах, ноги в тяжелых ботинках. В одном ухе три кольца, во втором – бубенчик со стразом. И челка мелированная глаза закрывает.

– Из-за чего она? – Димыч указал на лавку, и Саша Демочкин – умный мальчик – послушно плюхнулся, кинув в пыль щегольской кожаный портфельчик.

– Ну ваще я в ауте был! Ну ладно физрук, он без балды мужик нормал, хоть и орет, но чтоб Фимка... ну Серафима Ильинична. Она ж трындец просто!

– В каком смысле?

– Ну не психовала никогда! Ваще никогда! А тут бац и шухер. И я ж ниче такого не делал! Ну заржал. Так что, ржать нельзя?

Его возмущение было искренним, пусть слегка поистаскавшимся от многих пересказов давней истории.

– Я ж не debil какой, я ж понимаю. Сказала б: Демочкин, заткнись, я б и заткнулся. У нее ж голос такой, что все б заткнулись. А тут подлетела и за волосы. И об стол. Нос разбила. И мамка потом орья орала.

– За что?

– Ну... что учительницу довел. Это она из-за меня, да? – Голубые очи Сашки потемнели. – Я ж не нарочно. И записку мы ей так, приколу ради сунули. А она тут...

Димыч, убаюканный было рассказом, встрепенулся:

– Стоп. Какую записку?

Ох порозовел Саша Демочкин, покраснел даже, особенно носом. Небось клянет теперь язык свой длинный, но поздно.

– Ну... это не я писал даже! Это Марьянка, которая Крылаткина! Она и придумала. Грит, давай пошутим. Ну давай. Фигня же! – Голос сорвался на фальцет. Значит, не фигня, значит, чувствует за собой вину Саша Демочкин, неплохой в общем-то парень. – Да ничего там не было такого!

– А что было?

Демочкин вскочил, собираясь не то бежать, не то броситься на Димыча с кулаками, но, встретившись взглядом, потух.

– Да... ерундятина. Это Марьянка придумала. Ее ж Ведьмой звали, ну Фимку. А Марька и говорит, что раз ведьма, то ведьмина смерть. Так и написали. «Ведьме ведьмина смерть».

Последние слова он произнес шепотом.

Человек оставил машину на въезде в деревню. Прошелся пешком, оставляя отпечатки на свежем снегу. Перепрыгнул заборчик, пробрался через двор, шикнул на сонного пса, который тотчас передумал лаять и скрылся в будке. Оказавшись на улице – широкая полоса между двумя рядами одинаковых скучных домов, – он некоторое время стоял, прислушиваясь.

Тихо. Воеет обиженная собака, вздыхает сова, ветер шлепает ставнями по стенам.

Холодно. Схватились неожиданными заморозками земля, спрятала подо льдом грязные лужи, одела слюдою мертвые стволы.

Темно. Звезд пригоршня, луны половинка. И окна, за которыми продолжается тьма, вроде и та, но другая, согретая слегка дымом печным.

Человек закурил. Не то чтобы он не торопился, скорее уж растягивал удовольствие. Заодно еще раз заявлял миру о себе, предоставляя последний шанс отозваться. Но мир молчал, и человек, докурив, двинулся вдоль забора.

Нужный дом он нашел без труда. Перегнувшись через калитку, сдвинул запор. Вошел во двор и в два шага оказался у стены. Тень к тени. Теперь он не шел – крался, просчитывая каждый шаг. Вогнал узкую полосу металла в расщелину между дверью и коробкой. Зацепив, приподнял язычок замка. Толкнул плечом дверь, открывая, и оказавшись в сенях, так же осторожно, беззвучно запер.

В комнату он не стал заходить, хотя желание было почти невыносимым. Он никогда не подбирался настолько близко. Во всех прежних случаях предпочитал держаться подальше, пространством между собой и *ними* защищая разум и душу. Но эта женщина – особенная.

Она – его испытание. Она – его шанс вернуть утраченное. И человек не собирался его упускать.

Конверт он оставил на кухонном столе, после недолгих раздумий придавив его сахарницей. А цветы поставил в ведро с водой.

Он покинул дом с легким чувством разочарования. Почему-то ему казалось, что все будет немного сложнее.

Тень у дома напротив, худую, нескладную, человек не заметил.

Был! Он был здесь и есть сейчас. Ходит. Алена слышала, как он ходит. Когда она проснулась? Наверное, в тот самый момент, когда ее преследователь – ненормальный! псих! – открыл дверь. И засов сдвинул, хотя Танька утверждала, что засов – самая надежная вещь в мире.

Ни черта она не надежная! Вошел как к себе в дом. Скрипел половицами, шелестел одеждой – Аленкин слух обострился до предела, – стоял-стоял, а в комнату не сунулся. К счастью. Она бы скончалась на месте, если бы он все-таки сунулся.

И так страх отпускал медленно, толчками крови в висках, мурашками по ступням, зудом на губах, который остался от задавленного крика.

Маньяк ушел – она слышала, как он запирает дверь, скребется, возвращая засов на место, – но продолжала лежать под кроватью, прижимаясь к ледяной стене, закрывая руками рот, сдерживая слезы.

Вышел месяц из тумана...

Она не будет кричать. Не будет!

Вынул ножик из кармана.

Она завтра же напишет заявление. Еще одно заявление, которое, наверное, окажется бесполезным, но теперь-то есть повод! Незаконное проникновение в жилище.

Буду резать, буду бить.

И это подтверждает, что ее убить хотят! Хотят убить!

Стук в дверь был оглушитель, а сиплый голос незнаком:

– Эй, с вами все в порядке?

Нервы сорвались, Аленка завизжала.

Владу никогда прежде не приходилось выламывать двери. Но когда из дому раздался истошный визг, саданул плечом с размаху. И кувыркнулся в темные сени.

– Твою ж... вы где? Кто? Что с...

Она вылетела на него, как была – босая и в широкой ночнушке, – врзалась, не прекращая орать, заколотила руками в воздухе. Скрюченные пальцы полоснули лицо, съехали на шею, пытаясь зацепиться на горле.

– Да успокойся ты!

Влад оттолкнул ее. Отлетела. Ударилась в стену – на голову посыпалась мягкая рухлядь, – сползла на пол и, скукожившись, завывала.

Ну вот, только сумасшедших тут не хватало. Не нужно было лезть. У всех своя жизнь, и этой девице уж точно никакого дела до Влада нету. И ему не должно бы быть дела до нее.

Истеричка.

– Послушайте, – Влад опустился на колени, немного отполз – мало ли, вдруг снова кинется. – Я ваш сосед. Дом напротив.

Она всхлипнула:

– Ненавижу!

– У меня бессонница, – зачем он рассказывает? Ну хоть выть перестала, смотрит дико, непонимающе. – Я вышел из дому. Просто вышел. Воздухом подышать. Смотрю, к вам крадется кто-то. А потом назад. И очень быстро так. Ну я и решил проверить, так, на всякий случай.

Молчит. По лицу слезные реки текут, грязевые берега размазывают. Девочка-Пьеро, вечно в печали, ей бы руки заламывать и скулящим тоном на жизнь жаловаться, а она молчит. И молчание подталкивает Влада говорить. Оправдываться.

– Почему я сразу не заглянул? Неудобно как-то. А вдруг это ваш любовник был.

Она облизала губы и переспросила:

– Любовник?

– А что, тайные встречи, украденные поцелуи. И тут я проверять. Смешно вышло бы. Правда?

Неправда. Сейчас ей не до смеха. И ему тоже. Лицо горит – ну кошка драная, располосовала физию, – плечо ломит, а в голове одна мысль: дурак.

Девушка-Пьеро, опираясь обеими руками на стену, поднялась, глянула сверху вниз и жалобно спросила:

– Это ведь не вы? Поклянитесь, что это не вы.

– Клянусь.

– Он... он меня убить хочет. И письма носит. Говорит, сколько жить осталось. Сначала думала, что шутка, а он же ненормальный, он...

– Вот только плакать не надо!

– Первого мая, говорит... первое мая скоро. Три месяца всего. Три месяца – это очень мало, а я жить хочу. Я очень хочу жить.

– Я тоже, – Влад поднялся и, прикрыв дверь – покосилась, съехала с петель, – велел: – Давайте, рассказывайте всю правду. Потому как сдается, что мы с вами в одном положении. Ну если вам тоже три месяца дают.

Сидели на кухне. В жестяной кастрюльке купался кипятильник; две глиняные кружки, сестры-близнецы, ждали кипятка, сохраняя на донце чайный лист и сыроватый желтый сахар. В коробке оставалось еще на треть овсяного печенья и полторы вафли.

Настоящий ночной пир.

Хозяйка дома суежилась, скрывая за выдуманными хлопотами страх, а Влад не торопился. Оглядывался. Приглядывался, не столько к дому – он Аленке как шуба с чужого плеча, вроде и то, но явно не на нее шито, – сколько к новой знакомой. Узколица, остроноса, бровями черна, кожей смугла. Не слишком красива, но не сказать чтоб уродина. На любителя ягода.

– В мае началось. Наверное, первого. Я думаю, что первого, но тогда просто решила – шутят. По-дурачки, но...

Она внушаемая. Сказали – умрешь, – и поверила. Конечно, не сразу, но постепенно смирилась с мыслью, перестала искать выход. Да и какой тут может быть выход? В борьбе с тенью невозможно выиграть. Влад и сам находился в аналогичном положении. И потому искал общее между собой и этой девицей. Находил. Раздражался.

Выражение лица? Взгляд, в котором сквозила кроличья обреченность и даже готовность самому прыгнуть в пасть удаву, лишь бы поскорее прекратить мучения.

– А вы тоже прячетесь? – спросила Алена, отодвигаясь чуть дальше. Успокоилась? Перестала вдруг верить, посчитав, что он, Влад, подозрителен? А ведь подозрителен на самом-то деле. Если посмотреть на себя ее глазами.

– Тоже прячусь, – ответил он и, не желая рассказывать – что он мог рассказать, если сам толком не понимал, от чего и от кого он прячется, – добавил: – Но мои проблемы немного отличаются от ваших.

Вот именно, отличаются. Его проблемы лежат в области очевидного и невероятного. Или же свидетельствуют о глубоком внутреннем разладе и требуют обстоятельного лечения в каком-нибудь месте.

Нужно лишь признаться себе, что слегка – или не слегка – ненормален.

Но вот разговор иссяк, молчание становилось все более натянутым, а взгляд Алены настороженным. Определенно, пора было убираться восвояси, но это в общем-то здоровое решение Влад откладывал: он устал от одиночества, как некогда устал от не-одиночества.

Вернутся мысли, сны с картами и гаданиями, желание позвонить Наденьке и совершенно противоположное ему – никуда не звонить, а подняться на чердак, перекинуть через стропила вожжи и, сделав петлю, закончить все и сразу.

– Вам, наверное, стоит прилечь, – Влад все-таки поднялся. – Благодарю за чай.

Алена встрепенулась, вскочила и тут же села.

– Не уходите, пожалуйста. Мне будет страшно оставаться одной. А если он... если он вернется?

– Не вернется. Если бы он хотел что-то сделать, то сделал бы. А просто пугать и оставаться рядом – значит подвергать себя опасности.

Она не торопилась верить и тянула время, так же, как тянул сам Влад. И наверное, потому мысль, которая посетила голову, показалась даже удачной.

– А давайте, вы перейдете ко мне, – предложил Влад. – Исключительно в целях безопасности. Тем более что двери я вам выбил.

– А... а это будет прилично?

– Совершенно неприлично.

Влад улыбнулся – в ее положении и о приличиях думать? Парадоксальная женщина.

– Всего на одну ночь.

Она больше не стала возражать, что Влада порадовало – воевать с возражениями совершенно не было сил. Алена некоторое время металась по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Потом накинула на плечи рыжий пуховик и сказала:

– Я готова.

– Деньги? Документы? Семейное серебро? Бриллианты любимой бабушки? Дом остается открытым.

Шутке Алена не улыбнулась, снова вскочила, засуетилась в поисках сумочки и, обнаружив, выбежала во двор. Влад вышел за ней. Ненадолго завопил, притворяя дверь, чтобы не было особо заметно со стороны, что выбита.

А время-то уже утреннее. Светает. На краю деревни небо посерело, проклюнулось блекло-розовым, того и гляди полыхнет зимним скоротечным рассветом.

Впрочем, Алене до небесных красот не было никакого дела. Она быстренько добралась до забора, застыла неуклюжей статуей, дожидаясь, пока откроет. Также стояла у дверей. А оказавшись внутри, зябко поежилась и сказала:

– Знаете, мне кажется, что это судьба. Мы с вами просто не могли не встретиться!

– Знаете, – Влад посмотрел на нее сверху вниз. – Во-первых, в судьбу я не верю. Во-вторых, никому и ничего мы не должны. А вы ложитесь спать. Утро уже наступает.

Алена послушалась, легла и заснула как-то очень быстро. И спала спокойно, не дергалась во сне, не бормоча. Видать, сны ей снились спокойные и даже хорошие – личико утравило плаксивое выражение. И улыбка появилась. Улыбка ей идет.

Вопрос 3: Каков же источник его искусства? Длительное учение или чтение ученых авторов?

Ответ: Ни то ни другое, а только опыт, который, как бы низко ни ценили его другие, есть вернейший и скорейший способ вынесения суждения.

Человек появился на пороге дома с первыми осенними дождями. Длинный плащ, шляпа с обвислыми полями, черная трость с посеребренным набалдашником и стоптанные сапоги.

– Хозяйка, – рывкнул он, и Абигаиль зашлась слезами. – Сюда иди.

Снаружи грохотали десятки ног и голосов, которые перекатывали одно давным-давно забытое слово:

– Ведьма!

Ведьма-ведьма-ведьма...

За ней пришли, за Луизой. А Мэтью, ослепший от счастья, не почувал. Не увидел. Ведь давно присматривались, они всегда издали начинают. Сбивают гнездо в каком-нибудь городишке, к примеру в Грейт-Стаутоне, до которого он не доехал. Бродят по улицам, собирая сплетни и домыслы, допрашивая старух и болтливых вдов, которые и рады помочь божьим людям. Потом выползают за городские стены, добывая по крохам доказательства.

Сдохла корова? Хорошо! Молоко киснет? Великолепно! Трое детей зимою померли? Замечательно...

Тогда же, придирчиво перебирая лица, ищут ту самую, которая подходит лучше всех. Которой завидуют, которую ненавидят, сами не решаясь признаться в ненависти...

– Уходите, – Мэтью поднялся. Он вдруг остро ощутил собственное бессилие: хром и однорук, левая-то почти не слушается; шрамами расчерчен, старыми ранами опутан. Но отступить не отступит.

Он, Мэтью Хопкинс, знаменитый охотник на ведьм. Ему ли не знать, что Луиза – не ведьма!

В дом же ввалились двое, один краснорожий, распухший на пекарских дрожжах, захохотал. Второй истово перекрестился. Оба вмиг оказались рядом, усадили, придавили свинцовыми руками.

– Иди сюда, ведьма, – повторил человек в шляпе. – Лучшие сама иди. Не гневи Бога.

И Луиза, до того застывшая от ужаса, сделала первый шаг к палачу.

– Нет! Не смей! Я... Я Мэтью Хопкинс! Я...

Стукнули по голове, и дом завертелся, вызывая дурноту. Абигаиль кричала. Встать надо. Надо обязательно встать. Сказать. Потребовать. Они права не имеют быть здесь... они...

999Второй удар – наверное, Мэтью говорил вслух, если они разозлились, – и дом ускорил кружение.

– Ты, – у человека в шляпе скрипели сапоги. Громко-громко, точно петли дверные. Или это они и скрипят? Сквозняки пускают... нельзя сквозняки, Абигаиль маленькая.

– Как твое имя?

– Мэтью. Хопкинс. Я Мэтью Хопкинс.

У него узкое лицо, по самые глаза заросшее рыжей щетиной. И зубы желтые, а на месте левого клыка черная гнилушка. Глаза вот мутные, пьяные, но не от местного эля, а от веры перебродившей.

– Неправда, – сказал человек. – Все знают, что Мэтью Хопкинс умер еще два года тому. Да упокоится его душа с миром. Не знаю, кто ты, добрый человек, но, видно, эта женщина крепко одурманила твой разум...

– Нет!

– ...если ты взял себе чужое имя. Мы поможем тебе. Мы спасем тебя. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, ибо сказано...

Мэтью рванулся, выворачиваясь из рук державших. Прыгнул, хватая говорившего за горло, сдавил из последних сил и держал. Отдирали. Разжимали силой, били по голове и ребрам, выбивая крик и стон, кровь из носа и ушей, слюни по плащу проклятого пришельца.

Убивали почти, но не убили. А он, снявший шляпу – лысина блестит тонзурой, серые патлы свисают на глаза, – присел рядом. Медленно растянул воротник плаща и продемонстрировал стальной ошейник в ладонь высотой.

– Я не сержусь на тебя, человек. Ибо не по воле своей это злодеяние совершил...

Дальше Мэтью не слушал: потерял сознание. А очнулся на телеге, спеленутый веревками и заботливо обложенный соломой. Рядом, слабо, устало, хныкала Абигайль.

На мутном небе неявно проступал знакомый лик. Хотелось сказать:

– Не плачь, Магдалина.

А вышло:

– Не спеши оплакивать.

Проснувшись в чужом доме, Алена испугалась. А потом вспомнила. И то, как попала сюда. И то, что было накануне. Хозяин дома, человек, которого она прежде боялась, оказался вовсе не страшным. Хотя почему? Может, все на самом деле не так? Может, это он следил и в дом пробрался, а потом просто разыграл представление для наивной дурочки?

Зачем?

А чтобы быть ближе и в полной мере насладиться ее страхами, чтобы в конце концов, когда придет срок, без проблем реализовать замысел.

Чем больше Алена думала, тем более логичной и правильной казалась ей эта мысль.

Во-первых, из города уезжали тайно. Во-вторых, о существовании этого дома, купленного Михаилом недавно, никто не знал. Следовательно, у маньяка не было никаких шансов найти Алену.

Но он же нашел!

А с другой стороны, этот очкастый появился в деревне раньше Алены. И тогда именно он должен подозревать Алену. Хотя стоп. В чем ее подозревать? Влад, конечно, упомянул о проблемах, но рассказывать о них отказался.

– Ну что, проснулась?

Только теперь Алена заметила, что он находится тут же, в комнате. Сидит за столом, жует батон, запивая молоком прямо из поллитровой банки, и разглядывает ее.

Боже, она ведь выглядит ужасно! А вчера вообще истерику устроила. Влад, наверное, думает, что она сумасшедшая. Хотя какое ей дело до того, что он думает?

– Доброе утро, – вежливо сказала Алена.

– Доброе.

– Большое вам спасибо за то, что вчера помогли. – Алена совершенно не представляла, как ведут себя в подобных ситуациях, а потому чувствовала себя совершенно по-дурачки.

– Пожалуйста, – ответил Влад. – Завтракать будешь? Молоко свежее, я у соседки покупаю. Она корову держит. Рыжую. У рыжих всегда молоко жирнее. А вообще выходит недорого и вкусно.

И вправду было вкусно, хотя прежде Алена не замечала за собой особой любви к молоку.

– Я решил заняться твоей проблемой. Она представляется довольно интересной, – Влад стряхнул крошки с ладони. – Так как?

Как он это сказал! Точно сообщал о намерении жениться! Он что, думает, что теперь Алена на шею ему прыгнет от радости?

– Спасибо, но, пожалуй, нет, – Алена постаралась быть очень вежливой. – Простите, но я не знаю, насколько это... вообще решаемо.

Влад отодвинул от себя пустую банку и облизал губы.

– С твоей стороны отказываться глупо. Подумай, кому ты нужна? А если все на самом деле обстоит именно так, как ты рассказала, то все закончится весьма печально. Знаешь, это тот случай, когда нужно наплевать на вежливость. У тебя одна забота – выжить. И найти того, кто поможет выживать. Например, меня. Поэтому прежде, чем сейчас открыть рот и сказать очередную глупость, хорошенько подумай.

Она думала. Она ненавидела его за правду, которую Влад вот так небрежно бросал в лицо.

– Я вообще-то благотворительностью не занимаюсь. И поэтому, если откажешься, настаивать не буду. Выбор твой. И я снимаю с себя всякую ответственность за твою особу. Но на похороны загляну. По старой, так сказать, дружбе. Скажи только, какие цветы любишь.

– Вы... ты... ты сволочь!

Влад хмыкнул. Он знает, что прав, от первого до последнего слова прав. Ей нужна помощь, и нет никого, кто бы собирался помогать. Перевелись рыцари в сияющих доспехах, остались в вязаных свитерах, наглые, хамоватые и совершенно ненадежные.

Ну хоть какие-то.

– Ну так что? – спросил донкихот от деревни Дерюгино. – Ты как, согласна?

И что она могла ответить?

– Я не понимаю, какого хрена ты возишься с этим делом? Тебе что, заняться больше нечем? Если нечем, так и скажи!

Димыч не ответил, но и не отвернулся, выдержал тяжелый взгляд Самухина. Тот еще больше разозлился.

– И что теперь? Училку твою как раскопали, так и закопают. Ей вообще по фигу! А ты носишься, как наскипидаренный.

– Ну ношусь.

– Мертвых жалеешь? Живыми бы занялся. Посмотри, – Самухин хлопнул по стопке папок. От удара над столом взлетело облако не то пыли, не то мошкары. – Дело о разбойном нападении в Вяземцах. Висит? Конечно, висит. И кражи твои висят. И мордобой на Стрельной. И тачка угнанная, которая точно сама по себе не сыщется! Все висит, все лежит! А почему? Потому, что Дмитрию недосуг! У него вандалы!

Самухин мог злиться долго, заводясь по пустяку, он слово за слово разогревал себя, раздраконивал до состояния, когда и вовсе терял способность мыслить здраво. Возражать ему было бессмысленно и даже опасно, тем паче что сегодня упреки его оказались справедливы.

Димыч понимал, что он ровным счетом ничего не может сделать для мертвой учительницы. И даже найди он вандала или вандалов, дело вряд ли дотянет до суда, уж больно мелкое оно.

Неприятное и почти неприличное.

Кто захочет огласки? Дядя Саша, который скоро сопьется, если уже не спился? Коллеги, стремящиеся поскорей забыть историю, что бросает тень на репутацию школы? Дирекция кладбища?

Прав Самухин, заняться следует живыми.

Но вот что-то непонятное, необъяснимое подталкивало Димыча, требуя продолжать расследование. И все раздражение Самухина – перекипит-перебесится, нормальным мужиком станет – ничего не могло изменить.

– Охотник на ведьм! – плюнул слюной Самухин и выскочил из кабинета. Напоследок он громко хлопнул дверью, передавая свое раздражение Димычу, и Димыч, поддаваясь эмоциям, буркнул:

– Охотник на охотника.

И в этот миг случайная мысль обрела плоть. Конечно, если принять, что Серафима Ильинична, доведенная до истерики и петли, была ведьмой. Если поверить в существование Охотника, то логично будет предположить, что жертва не единственная. Следует лишь хорошенько поискать. А искать Димыч умел.

Двое суток, несколько десятков звонков, несколько визитов, несколько поклонов нужным людям и пять дел за неполные два года. На первый взгляд сходства между ними не больше, чем между яблоком и сливой – фрукты, с хвостиками и для компота пригодны.

Список открывала хозяйка магазина нижнего белья, Серафимова Евгения Петровна, повесившаяся полтора года тому на шелковом шнуре прямо посреди торгового зала. Еще в морге над телом надругались, сунув в рот головку чеснока, а под ногти – древесные щепки.

Дело закрыли, посчитав случившееся проделками местных не то готов, не то гопов, не то вовсе анархистов, хотя последним совершенно точно было незачем преследовать несчастную Евгению Петровну.

Следующей жертвой стала двадцатилетняя студентка филфака, девица облегченного поведения и больших амбиций. Она повесилась в съемной квартире на галстук последнего из любовников. Официальной причиной суицида был признан разрыв с тем самым владельцем галстука, человеком достойным и глубоко семейным.

Спустя три дня после похорон могилу раскопали, а над телом надругались. На сей раз вандализм прикрыли супружеской ревностью, но обвинения выдвигать не стали.

За номером три в списке значилась пенсионерка, заслуженный работник почты, переехавшая в Гольцы несколько лет тому. Была она женщиной со сложной судьбой и крайне скверным характером. И соседи точно вздохнули с облегчением, когда она повесилась. Но вряд ли ненавидели настолько, чтобы пробираться на кладбище и раскапывать могилу, а потом махать топором, отсекая голову несчастной.

Четыре и пять – домохозяйка и заводчица декоративных такс. Первая удавилась на шнуре от утюга, вторая использовала поводок. И ни ту, ни другую не оставили в покое после смерти.

Серафима Ильинична была шестой в этом списке.

Шесть самоубийц, шесть актов вандализма, шесть жертв. Теперь, в совокупности, дела не казались такими уж ясными или пустяковыми. В них Димычу виделась система.

Кто-то сознательно, умело доводит женщин до самоубийства, чтобы потом реализовать свои фантазии. И даже Самухин не станет отрицать очевидного.

Осталось выяснить, при чем тут ведьмы.

Магазин «Серафима» блестящим коробком прилип к серой стене многоэтажки. Белое кружево нижнего белья за черным атласом витрин. Вязанки бус, мятая фольга, манекены в меховых манто на голое пластиковое тело.

Колокольчики на двери, которые звякнули, предупреждая о появлении Димыча.

Внутри сияло, блестело, переливалось всеми оттенками роскоши, кутало посетителей ароматами сандала и свежего кофе, дразнило взгляд и пробуждало к жизни фантазии.

– Чем могу вам помочь? – наперерез Димычу кинулась девушка в форменном наряде. – Ищете подарок? Для кого? Жена? Подруга? Родственница?

Она говорила, улыбалась и в то же время ощупывала взглядом, определяя, стоит ли тратиться на Димыча. Не стоит – мелькнуло в глазах и исчезло.

– Нет. Я по поводу Серафимовой. Евгении Петровны. Бывшей хозяйки.

Продавщица моргнула. Выражение лица ее не изменилось.

– Милиция, – вздохнул Димыч, предвидя бесполезность усилий. – Дело вновь открыто в связи с новыми обстоятельствами. С кем я могу поговорить?

Оказалось: ни с кем. За прошедший год магазин сменил троих хозяев, и последний понятия не имел ни о какой Евгении Петровне. Ничего не дал разговор с соседями: Серафимова оказалась женщиной замкнутой, необщительной и неинтересной. Ее уже почти забыли, квартиру перепродали. И теперь новые жильцы капитальным ремонтом затирали остатки памяти о самоубийце.

Со студенткой Димычу повезло больше. Вот уж у кого было много контактов, вот уж кого помнили и говорили охотно, пусть и не слишком хорошее.

– Да стервочкой она была! Обыкновенной стервочкой. Тупой и жадной, – злопыхала ванильным дымом блондинка в длинном кашемировом шарфе. – Мы с ней сначала дружили. Ну как дружили, обе иногородние, обе без связей, блата и вообще... сошлись, квартирку сняли... нормал вроде. А она потом... я понимаю, что красивым больше позволено, но чтоб вот так... нет, вы не думайте, что я обрадовалась, мне от ее смерти ни жарко ни холодно. И вообще к тому времени наплевать было.

Врет, до сих пор не наплевать, а тогда тем паче. Мотив? Мотив. А Серафимова тогда?

– И что она вам сделала?

Димыч нарочно не стал присаживаться рядом, хотя девчонка махнула, приглашая. Стоять удобнее: лицо видно. И руки, особенно пальчики, анемично-бледные, дрожащие пальчики, что разминают фильтр сигареты. Неприятен разговор? Или не разговор, а воспомина- ния.

– Да что она могла сделать? Обычное. Жениха отбила. Просто, смеха ради... повозилась с неделю, потом послала. Она вообще легкая была. Ну серьезно, легкая. Без балды. Я прямо в шок ушла, когда мне сказали, что Настька повесилась.

Мнет губы, раскатывает остатки помады, запирает слова, которые ему, чужаку, вдруг вздумавшему прошлое копать, нельзя говорить. И все-таки говорит:

– Ее убили.

– Кого? – переспрашивает Димыч. Не потому, что не понимает: она должна сказать, и тогда будет ясно, верит ли она в сказанное.

– Настю. Я тогда говорила, а не поверили. И Настькина мама, когда приезжала, тоже не поверила. Никто не поверил, а ведь правда! Ну некрасиво вешаться. А Настька никогда бы не сделала некрасивого. Да и зачем?

Слушай, Димыч, внимательно слушай. У тебя ведь тоже подозрения были? Были, не отрицай. Уж больно гладко все складывалось у Охотника, без осечек. А так бывает, только когда сам убиваешь.

– Думаете, она бы из-за любовничка расстроилась? Да ни черта. Ей нового найти, как два пальца... она и находила. Я вообще думаю, что это не он ее, а она его послала. К женушке. Чтобы сравнил, подумал и... – Острые локотки блондиночки сошлись на узкой коленке, спина выгнулась кривой дугой, а голова опустилась на руки. – Господи, я ж ее не люблю! Ненавижу даже ведьму этукую, а все равно жалко!

– Жалко? Да, жалко. Хоть стервь, а все человек. Живой человек, – женщина в цветастом платке и тяжелых цыганских серьгах бодро плевалась семечками и словами. – Правильная вся из себя. Приехала. В чужой-то монастырь да со своими порядками. Сорим мы. В подъезде не метем. А мне что, плотят, чтоб мела?

Димыч не прерывал монолога, лишь кивал да поддакивал.

– Я ей так и сказала, ты, коль в охотку, паши, а я не буду. Не дурная, чай. Ну семки. И что семки? Их же все грызут, они вообще полезные.

– Значит, из-за семечек ругались?

– Из-за семок, – охотно согласилась баба. – Со мною. С Кавушкиным из-за курева, что смолит в подъезде и окурки прям-таки кидает. С Сываками из-за малых, что лазют бесприглядными. А что им станется? Бисово семя, дикое. С Тумшиным из третьей из-за друзей егоных. Парень-то молодой, понятное дело. Ну шумит, так и что? С Коневым из-за собаки, большая и лает. И гуляют туточки. Дескать, гадют на песочницу. Так какая ж песочница? Кто в ней играетца? Тьфу. А с Бабалихой из-за котов, их у ней трое, жалостивая.

Похоже, покойная успела рассориться со всеми соседями.

– Не, гражданин милиционэр. – Баба отряхнула ладони и вытащила из кармана новую горсть. – Вы тут не подумайте ничего. Обычное ж дело. Сварятся соседи? Ну и сварятся. Никто ж из-за сварок в петлю не лезет. И она не полезла б. Железного норову баба была, пусть земля ей пухом...

– ...железного? Нет, что вы. Характер у Инночки мягкий, даже слишком. Я иногда злился даже. Ее обсчитали, а она, вместо того чтоб скандал закатить, улыбается и извиняется, дескать, не будете ли столь любезны перепроверить, – гражданин с покатым лбом чувствовал себя неудобно. Он ерзал, тер платком переносицу и щеки, растирая до красноты, облизывал губы и тяжело вздыхал. – Бесконфликтная она. Никогда, ни с кем... Соседи громко музыку слушают? Она потерпит. Продавщица хамит? Проглотит. Учительница Анькина взятки вымогает? Понесет... Господи, ну кому она мешала? Ведь светлый человек... и о чем думала? Скажите, о чем? У детей стресс, до сих пор у мамы моей живут. И квартиру, похоже, менять придется. А мы в ней только-только ремонт закончили. Да и мне теперь... какая карьера? Какое будущее?

– ...будущая чемпионка, – остролиция девчонка посадила щенка на ладонь и чмокнула воздух перед его мордочкой. – Я их вижу. Ленка вот не умела, а у меня глаз-алмаз. И заказчики это признавали. А Ленка... ну с собаками ладить умела, это да. И с людьми. Какая была? Наверное, никакая. Квелая. Сонная вечно. Мы с ней давно дружим, точнее вроде как дружим, просто она хоть и не гений, но кидать не станет. Вот и дело начали. Теперь-то я одна, но ничего, справлюсь. Правда, маленькие мои? Правда... Из-за чего повесилась? Так откуда ж мне знать! Может, она вообще ненормальной была...

Было не было. Не нашлось между этими людьми ничего общего, кроме писем, которые приходили к каждой из жертв. К сожалению, ни одно не сохранилось: родственники быстро избавлялись от напоминаний о трагедии.

Этот дом он купил по случаю, хотя теперь понимал, что ничего случайного в мире не происходит. Наоборот, любое действие, любой поступок предопределены.

Он вернулся, чтобы избавиться от кошмаров. Он прошелся по центральной улице, по которой когда-то бегал пацаном. Постоял у колодца, потрогал треснутую, съехавшую набок крышу, заглянул внутрь – в лицо дынуло плесенью и вонью. Вспомнил, как когда-то таскал ведра. Вниз летело весело, со звоном. Плюхалось, пробивая водяную гладь, и тонуло. Наверх шло тяжело. Скрипел ворот, на рукоять, отполированную до блеска, приходилось налегать всем телом, а бабы, стоявшие в очереди, не спешили помочь. Косились, шептались да хихикали, когда он, ухватившись за ручку ведра, тянул его, вываливая на себя холодную колодезную воду.

Твари. Ведьмы. Они все, жившие здесь, ведьмы. И не только они. Мир полон, мир стонет и, как некогда, требует очищения. Великая битва для одного человека.

Человека, который однажды вернулся в прошлое, чтобы изменить будущее.

Его дом стоял на прежнем месте. Стены в зеленый перекрасили, подоконники сняли и крыльцо развалили. А черепица почернела не то от сырости, не то от пыли.

Пока он стоял и разглядывал, пока боролся с воспоминаниями, из дома выбралась старуха. Уже позже он понял, что женщина не так и стара, но выглядела она древней – морщиниста и неопрятна.

– Тебе чего? – просипела она, кутая горло драным шарфом.

– Купить хочу, – неожиданно для себя сказал он.

Дом обошелся на удивление недорого, дороже вышло порядок навести, ремонт сделать. Не для того, чтобы стало лучше, но для того, чтобы стало так, как было. Почти так. В отличие от себя прошлого человек был старше. И точно знал, как ему жить.

И Господь, милостью своей, отдал наследство в руки его.

Алена не имела представления о том, как расследуются преступления. Воображение рисовало сыщика, который идет по следу с лупой наперевес и револьвером, лихо заткнутым за пояс. Он бодро находит улики, складывает в ячейках гениального разума, чтобы потом, разложив по полочкам, назвать имя злодея.

Но сыщика не было, ни с револьвером, ни без него. Не было и свидетелей, которых можно было бы опросить, и уж тем паче улик.

Одни разговоры под брызжание огня, запертого в печи.

Влад допрашивал ее с пристрастием, вытаскивая из памяти буквально все.

Детство. Летние каникулы. Бабушка-ведьма.

Смерть. Посылка. Вот оно, украшение. Не снимаю. Привыкла. Оно мой амулет.

Учеба. Новая школа. Танька. Дружба. Первое лето в городе. Скука. Потом привыкла. Взросление. Первая любовь. Поступление и снова учеба.

Родители переезжают в Штаты. Ссоры. Алена ехать не хочет. Доказывает самостоятельность. Истерика. Не потому, что самостоятельная, а потому, что влюбленная. Насмерть. Навсегда. До гроба и даже больше. Уступают. Уезжают.

Третий курс и беременность. Расставание. Упреки. Обиды. Смерть любви в стерильном кабинете. Почему не стыдно рассказывать об этом?

Потому что давно. Было-сплыло-прошло, травой поросло, в землю ушло... откуда слова? Память подсказывает. Слезы. Уговоры родителей, решивших, что теперь-то она точно подчинится. Упрямство: не хочу, чтобы жалели.

Госы. Диплом. Надо же, доучилась. Защита. Выпускной. Пьяная, и случайный секс с незнакомцем. У него квадратный подбородок со шрамом. И родинка на шее. Больше ничего не запомнила, а вот родинку до сих пор как наяву – черное пятнышко, грибок на ножке.

Поиски работы. Бесплезно, но если очень захотеть... хождения по мукам. Опять уговоры. Мысль, а может, и вправду переехать? Но удача, фирма, и снова любовь. Уже сдержанная, осторожная, с терпким привкусом разлуки.

Встречи. Связи. Скрытность. Он глубоко женат и недоступен. Мучительные вечера и слезы. Робкая надежда: с женой у него не ладится. И постепенная безнадега: расходиться не будут. Ради дочери. Сердце разваливается на куски и остывает.

Звонок: родители разбились. Насмерть. Прилетай. Прилетела. Растерянная и ошалевшая от внезапного одиночества. В последний звонок снова поссорились. Ее обозвали дурой. И стервой, которая чужую семью разрушает. А она плакала, что тоже хочет немного счастья. Разве это запрещено?

Теперь да. Похороны. Траур. Адвокаты. Дела. Незнакомые люди со знакомыми лицами со снимков, которые мама присылала. Спешат сочувствие выразить. Спасибо. Да, я в порядке. В полном порядке.

Одиночество волнами, одна выше другой.

И волнорезом – бумаги. Подписать. И еще подписать. И вот здесь тоже. Вы понимаете, о чем речь? Конечно. Скоро возвращаться. Домой. Там он. Каким бы ни был, но утешит. Он ведь понимает, насколько ей важна поддержка...

Расставание. Жена опять беременна, а врал, будто давно не спит. Прости, пойми, у нас все было замечательно, и ты ни в чем не виновата.

А какая разница, кто виноват, если было хорошо, а теперь плохо? Не разбить, не исправить, так зачем искать виновных? Казнить нельзя помиловать...

Время как вода. Работа по инерции, с каждым днем все хуже. Уволят? Пускай. Деньги есть. Американское наследство, на сколько-то да хватит. Простите, мама-папа, ваша дочь и вправду дура.

Танькина свадьба. Вымученное веселье и краткая связь, которая немного оживила. Никакой любви, чистая физиология. Пусть так, но... удержаться не вышло. Увольнение.

Письмо.

Еще письмо. Страшно и жить хочется. Именно сейчас, когда уже на краю, очень хочется жить.

– Правильно, – Влад, обнимая, гладит по спине. – Для того край и нужен, чтобы понять: жить хочется. Всем хочется. Тебе и мне, и...

Не договорил, но понятно: даже ему. Тому, который убивает.

– Н-наверное, – только сейчас Алена поняла, что охрипла. Слишком много всего сказала, и ненужного тоже, но сожаления нет. – Наверное, я ему должна сказать спасибо. Он же меня спас. Иначе я сама попыталась бы...

– Скажешь. Обязательно.

Обыкновенная девчонка с обыкновенной жизнью, полной обыкновенных проблем, которых вдруг стало слишком много.

Алена, заплаканная и некрасивая, с пятном сажки на щеке и грязными, забранными в хвост волосами, вызывала жалость. А еще раздражение оттого, что позволила довести себя до подобного состояния. Вот с Наденькой такого бы не случилось.

Наденька идет по жизни, смеясь. Прямо, к цели, однажды пойманной в прицел черных глаз. Вскрывая защиту с ловкостью опытного хакера. Устраняя соперниц.

Плохо это? Хорошо? Она не будет плакать и жаловаться. Не станет рассказывать о неудачах, а слабость проявит лишь затем, чтобы в этой слабости увязла сила.

Настоящая ведьма. Мелькнувшая мысль заставила встрепенуться. Ну конечно, Надька упоминала о ведьмах! О знакомой своей, к которой письма приходят.

Черт, как он мог пропустить настолько прямую подсказку?

Нужно срочно переговорить с Надькой. Телефон? Нет. Не пойдет. Влад должен видеть ее лицо. А еще хорошо бы встретиться с этой ее пострадавшей подругой. Значит, нужно в город.

– Ты куда? – В Алениных глазах полыхнуло страхом.

– В город. Вернись. Сиди здесь. Никуда не выходи, никому не открывай.

– Но...

– Если хочешь, чтобы я помог, слушай, что говорю, – Влад повысил голос, опасаясь сорваться. Спокойнее. С чего это он настолько завелся? Подумаешь, разговор. Или в город хочется? Но его-то никто в деревне не запирает. Дорога свободна. Садись и езжай.

Влад так и сделал.

Вопрос 4: Но где же он набрался такого опыта? И почему его не набрались другие?

Ответ: Ему не пришлось далеко ходить за опытом, ибо в марте 1644 года в городе, где он жил, обнаружилась секта из семи или восьми ужасных созданий, называемых ведьмами.

Город этот находится в Эссексе и носит название Манингтри. В округе тоже обитали ведьмы, которые встречались со своими городскими товарками каждые шесть недель по ночам (и всегда то была ночь пятницы) неподалеку от его дома, где торжественно приносили жертвы дьяволу. Однажды обнаружитель услышал, как одна ведьма разговаривала со своими помощниками и велела им отправляться к другой ведьме, которую накануне задержали, обыскали в присутствии женщин, поднаторевших в поиске дьявольских отметин, и нашли на ее теле три соска, каких у честных женщин не бывает. После этого по приказу судьи они не давали ей спать три ночи, ожидая, что помощники придут к ней во время бодрствования, и действительно, на четвертую ночь она перечислила их по именам и рассказала, как выглядит каждый из них, за четверть часа до того, как они пришли в комнату. Первого она назвала:

1. Холт, который явился в облике белого котенка.

2. Фармара, толстый спаниель без ног, про которого ведьма, хлопнув себя ладонью по животу, сказала, что это она его так раскормила своей доброй кровью.

3. Укусный Том, похожий на длинноногую борзую с бычьей головой, длинным хвостом и широко расставленными глазами, который, стоило обнаружителю заговорить с ним и приказать ему идти в место, отведенное ему и его ангелам, немедленно превратился в четырехлетнего ребенка без головы, бежал не менее двенадцати раз всю комнату кругом и исчез у дверей.

4. Сосун и Сахарок, два черных кролика.

5. Ньюз, черный хорек. Все исчезли, как только ведьма назвала нескольких других ведьм, от которых она этих помощников получила, указала других женщин, у которых были дьявольские отметины, и сказала, в каких местах их следует искать и сколько их там, а также назвала по именам их помощников, которых звали Элеманзер, Пайвакет, Пекин Корона, Гриззель Жадные Кишки, и других, каких имен ни один смертный не выдумает. И точно, когда обыскали и допросили указанных ею женщин, обнаружили у каждой точно такое количество дьявольских меток и в тех же самых местах, на которые она указала, и имена помощников они назвали те же самые, хотя и не слышали, о чем шла речь раньше, и так продолжали друг друга выдавать, пока в одном только Эссексе не набралась сотня женщин, предававшихся дьявольским занятиям, из которых двадцать девять были осуждены и привезены на казнь в тот самый город, где жил обнаружитель, и даже послали дьявола по имени Медведь убить его в его собственном саду. Вот так, посмотрев, как обнаруживают на телах ведьм противоестественные соски, и повидав сотни их, он и приобрел свой опыт и теперь убежден, что любой человек, обладая таким же опытом, мог бы определять ведьм не хуже, чем он и его помощники.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.